

АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ
ВАЙНЕРЫ

ВИЗИТ К МИНОТАВРУ



PREMIUM

Следователь Тихонов

Георгий Вайнер

Визит к Минотавру

«Азбука-Аттикус»

1971

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

Вайнер Г. А.

Визит к Минотавру / Г. А. Вайнер — «Азбука-Аттикус»,
1971 — (Следователь Тихонов)

ISBN 978-5-389-20329-7

...У известного музыканта, народного артиста СССР Полякова похищена бесценная скрипка работы Страдивари. Такова завязка бестселлера классиков российской литературы братьев Вайнеров – романа «Визит к Минотавру» (1971). Толчком к написанию книги послужила реальная история ограбления квартиры выдающегося советского скрипача Давида Ойстраха, творчески переработанная писателями (так как в действительности воры как раз не тронули ни одного музыкального инструмента). Классический детектив со стремительно развивающимся сюжетом? Не только. Роман захватывает и держит в напряжении, как и положено детективу, но вместе с тем многослоен и объединяет два временных пласта. Параллельно с рассказом о расследовании, которое ведет знаменитый герой братьев Вайнеров старший инспектор Тихонов, мы узнаем о судьбе и тайнах творчества великого мастера Страдивари и его учителя Амати, создававших свои уникальные инструменты в XVII–XVIII вв. в Кремонне. История раскрытия громкого преступления становится поводом для размышлений о «сальерианстве», природе таланта, человеческих пороках и страстях, о Минотавре, живущем в каждом из нас. Умело выстроенная композиция, яркие жанровые зарисовки, живые диалоги, динамичная смена эпизодов и общая кинематографичность... Недаром роман лег в основу популярного телевизионного фильма (1987).

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)6-44

ISBN 978-5-389-20329-7

© Вайнер Г. А., 1971
© Азбука-Аттикус, 1971

Содержание

Книга первая	6
Глава 1	6
Глава 2	15
Глава 3	25
Глава 4	36
Глава 5	47
Глава 6	59
Конец ознакомительного фрагмента.	60

Аркадий и Георгий Вайнеры

Визит к Минотавру

Книга первая

Вход в лабиринт

Глава 1

Улыбка королевы

И кода тоже не получилась. Здесь должно быть высокое, просто кричащее пиццикато, но звук выходил тупой, тяжелый, неподвижный. Сзади, там, где тускнели лампионы, раздался смех. Плыла, тяжело дыша, жаркая венецианская ночь. Дамы обмахивались веерами, и кавалеры шептали им на ушко что-то, наверное, гривуазное, а они улыбались, и Антонио все время слышал шорох разговора в зале, и от этого проклятая скрипка звучала еще хуже, пока кто-то отчетливо – как камень в воду – не сказал: «А ведь хороший резчик по дереву был!» Тогда Антонио сбросил смычок со струн, и скрипка противно вскрикнула, злорадно, подлю, и в зале все лениво и равнодушно захлопали, решив, что пьеса окончена, слава богу...

На негнущихся голенастых ногах прошагал к себе в комнату Страдивари, долго пил из кувшина, пока, булькнув, струйка не иссякла. Вода была теплая, вязкая, и жажда не проходила. Антонио стянул с головы парик и вытер им воспаленное, мокрое от пота лицо, долго сидел без чувств и мыслей, и только огромная, утомительная пустота заливала его, как море. Кто-то постучал в дверь, но он не откликнулся, потому что ужин у графа Монци был бы сейчас для него невыносимой пыткой, да и не имело теперь значения, откажет ли ему в дальнейшем покровительстве граф, – жизнь ведь все равно была уже кончена.

От темноты и одиночества напряжение немного прошло, и Антонио почувствовал сильную жалость к себе. Он зажег сальную свечу и вытащил из дорожного мешка щипчики и тонкую длинную стамеску. Взял скрипку в руки, и она вновь вызвала у него прилив ненависти – пузатая, короткая, с задраным грифом, похожая на преуспевающего генуэзского купца. Антонио упер скрипку в стол и сильным точным толчком ввел металлическое жало стамески под деку. Скрипка затрещала, и треск ее – испуганный, хриплый – был ему тоже противен. Освободил колки, снял бессильные, дряблые струны и поднял деку. Аляповатая толстая душка, нелепо поставленная пружина, толстые – от селедочного бочонка – борта-обечайки.

В горестном недоумении рассматривал Антонио этот деревянный хлам, зная точно, что он никуда не годен. Господи, надоумь, объясни – как же должно быть хорошо? На колокольне ударили полночь, и где-то далеко на рейде бабахнул из носовой пушки неапольский почтовый бриг, и время текло, струилось, медленно, размеренно, как вода в канале за окном, и откровение не приходило. Из окна пахло сыростью, рыбой, полночным бризом. Антонио встал, собрал со стола части ненавистной скрипки, подошел к окну и бросил в зеленую воду немые деревяшки. Потом, не снимая камзола и башмаков, лег на узкую кровать, поняв окончательно, что жизнь кончена, уткнулся в твердую подушку, набитую овечьей шерстью, и горько заплакал. Он плакал долго, и слезы размывали горечь, уносили рекой сегодняшний позор, намочла и согрелась подушка, ветерок из окна шевелил на макушке короткие волосы, и незаметно для себя Антонио заснул.

А когда проснулся, солнце стояло высоко, и горизонта не было видно, потому что сияющее марево воды сливалось с нежно-сиреневым небом, и ветер гнал хрустящие, кудрявые,

как валансьенские кружева, облака, и только тонкая стамеска да черненные щипчики на столе напомнили ему, что жизнь кончилась еще вчера. Вспомнил – и засмеялся.

В этот день Антонио Страдивари исполнилось девятнадцать лет.

* * *

Королева улыбалась ласковой, чистенькой старушечьей улыбкой, и трещины расколовшегося стекла нанесли на ее лицо морщинки доброты и легкой скорби. Портрет валялся на полу, и с того места, где стоял я, казалось, будто королева запрокинула голову, внимательно рассматривая красное осеннее солнце, недвижимо повисшее в восточном окне гостиной.

– Девять часов шестнадцать минут, – сказал эксперт Халецкий.

– Что? – переспросил я.

– За восемь минут, говорю, доехали.

– Ну слава богу. – Я ухмыльнулся. – Задержись мы еще на две минуты, и тогда делу конец...

Эксперт покосился на меня, хотел что-то сказать, но на всякий случай промолчал. Мы стояли в просторной прихожей, в дверях гостиной, не спеша оглядывая разгром и беспорядок в комнате, ибо этот хаос был для нас сейчас свят и неприкосновенен, являя собой тот иррациональный порядок, который создал здесь последний побывавший перед нами человек. Вор.

– Послушайте, Халецкий, а ведь, наверное, сильно выросла бы раскрываемость преступлений, если можно было бы консервировать место происшествия. Вы как думаете?

– Не понял, – осторожно сказал Халецкий, ожидая какого-то подвоха.

– Чего непонятного? Вот закончим осмотр, сфотографируем, запишем, и сюда придут люди. Много всяких людей. И навсегда исчезнет масса следов и деталей, на которые мы с первого раза просто не обратили внимания...

– И что же вы предлагаете?

– Я ничего не предлагаю. Просто фантазирую. Если бы можно было после осмотра опечатать квартиру и прийти сюда завтра, послезавтра – и мы бы увидели так много нового...

– Прекрасный образец работы по горячим следам, – сказал сварливо Халецкий. – Вы лучше постарайтесь все это увидеть сейчас. Кроме того, я не уверен, что хозяева этой квартиры согласны погостить у вас дома... пока вы будете искать не замеченные сразу улики.

Я засмеялся:

– Да, в моих апартаментах будет трудно разместить эти рояли. И хоть я в этом мало чего понимаю, но хозяину они, наверное, нужны оба.

Сзади щелкнула входная дверь, и вошла инспектор Лаврова, а за нею – собаковод Качанов с Марселем. Огромный, дымчато-серый с подпалинами пес спокойно сел в прихожей, приветливо посмотрел на меня, смешно подергал черным замшевым носом. «Я готов, – всем своим видом говорил Марсель. – Не знаю, чего уж вы тут копаетесь».

– Что, поработаем, Марселишка? – спросил я и потрепал пса по загривку.

Овчарка прищурила свои янтарно-красные круглые глаза.

– Станислав Палыч, вы его зря сейчас разговариваете, – сказал недовольно Качанов. – Исковой пес в работе на след должен быть уцелен, как на жареную печенку.

Лаврова чиркнула зажигалкой, затянулась сигаретой, со смешком сказала:

– А что толку-то? Все равно «...у стоянки такси собака след утратила...».

– Это вы уж бросьте! – совсем обиделся Качанов. – Вашей-то фотографии в музее милицейском еще нет пока, товарищ лейтенант... А Марсель мой, между прочим, третий год там красуется. Зазря портрет на стенку вешать не станут. Притом в раме...

– Станислав Павлович, поблагодарите Качанова за комплимент, – засмеялась Лаврова. – Я ведь там и ваш портрет видела.

Лаврова оглядывалась в прихожей, разыскивая, куда бы ей сбросить пепел с сигареты, направилась к столику, на котором стояла большая тропическая раковина. Я опередил ее, подставив развернутую газету:

– Если нет принципиальных возражений, пепел будем стряхивать сюда. Я ведь сейчас отличаюсь от Марселя тем, что, прежде чем искать, обязан сторожить тот порядок, в котором мы все это застали.

Лаврова взглянула на меня, усмехнулась:

– И опять вы правы. Я с тоской думаю об участи женщины, которая станет вашей женой. Я кивнул:

– Я тоже. Для вас остается вариант личного самопожертвования. А теперь, как говорили дуэлянты, приступим, господа. Качанов, войдешь первым: вы с Марселем отработываете след, а мы начнем свою грустную летопись.

Качанов снял с Марселя поводок, что-то шепнул ему на ухо и пустил в комнату. Я стоял, прислонившись к притолоке.

Собака, видимо, взяла след. Она занервничала, вздыбилась шерсть на загривке, судорожно подергивался нос – черный, влажный, нежно-трепетный. Марсель перебежал комнату и исчез в спальне, потом снова вернулся, и двигался он все время кругами, иногда растягивая их и переворачивая в восьмерки, пока не выбежал обратно в прихожую, сделал стойку у дверного замка, и тут Качанов ловко и быстро накинул на него карабинчик поводка. Марсель стал скрести когтями дверь и вдруг неожиданно тонко взвыл: «У-у-юу...» – как от мгновенной внутренней боли. Качанов открыл дверь и выскочил вслед за овчаркой на лестничную площадку, потом раздался его drobный топот по ступенькам.

– Прошу вас, – сделал я широкий жест, приглашая войти в гостиную, и добавил, обращаясь к Халецкому, хотя Лаврова отлично поняла, что говорю я это для нее, и Халецкий это знал: – Весь наш мусор – окурки, бумажки и тэдэ и тэпэ – складывать только на газете в прихожей...

И поскольку мы все трое знали, кому адресовано это указание, осталось оно без ответа, вроде безличного замечания: «Уже совсем рассвело». Я подошел к портрету – почему-то именно портрет больше всего привлекал мое внимание. Это была очень хорошая фотография, застекленная в дорогую строгую рамку. Часть стекла еще держалась, вокруг валялись длинные, кривые, как ятаганы, обломки, рядом на паркете засохли уже побуревшие пятна крови. Там, где капли упали на стекло, они были гораздо светлее. Одна длинная капля попала прямо на фото и вытянулась в конце дарственной надписи, как нелепый, неуместный восклицательный знак.

– Королева Елизавета Бельгийская, – сказал Халецкий, присевший рядом со мной на корточки.

– Это написано или вы так думаете? – спросил я, проверяя себя.

– Знаю, – коротко ответил эксперт. – Жаль, я не понимаю по-французски. Интересно, что здесь начертано?

– Наверное, что-нибудь вроде: «Люби меня, как я тебя», – усмехнулся я.

Лаврова заглянула через мое плечо:

– «Гениям поклоняются дамы и монархи, ибо десница их осенена Господом».

– Вы это всерьез полагаете? – обернулся я к Лавровой.

– Это не я, это бельгийская королева так полагает, – сказала Лаврова.

– Н-да, жаль, что я не гений, – покачал я головой.

– А зачем вам быть гением? – спросила Лаврова. – Расположение монархов вас не интересует, а с поклонницами у вас и так, по-моему, все в порядке.

Я внимательно взглянул на нее, и мне показалось, что в тоне Лавровой досады было чуть больше, чем иронии.

Я снова наклонился над портретом. Королева улыбалась беззаботной улыбкой, и теперь – совсем рядом – эту накопившуюся десятилетиями беззаботность неправящего монарха-дамы не могли изменить даже морщины – трещины расколовшегося стекла.

– И все-таки жаль, что я не гений.

– Слушайте, негений, вы о чем сейчас думаете? – спросил Халецкий.

– Ни о чем. Мне сейчас думать вредно. Я сейчас стараюсь стать запоминающей машиной. Вот когда все зафиксирую в памяти, тогда начну думать.

– Неужели вам никогда не надоедает оригинальничать? – раздраженно спросила Лаврова.

Я удивленно посмотрел на нее, потом засмеялся:

– Леночка, а я ведь не оригинальничаю. И не я это придумал. Еще много лет назад меня учил этому наш славный шеф – подполковник милиции Шарапов.

– Чему? Не думать?

– Нет, в первую очередь запоминать. Я должен сейчас сразу и навсегда запомнить то, что пока есть, но может исчезнуть или измениться...

– Например?

– Так не например, а конкретно: существует несколько неоспоримых, раз и навсегда установленных правил. Запомнить время по часам – своим и на месте преступления, даже если они стоят. Это первое. Затем осмотр дверей: целы ли, заперты, закрыты, есть ли ключи. То же самое с окнами. Установить наличие света. Посмотреть, как обстоит с занавесями. Проверить наличие запахов: курева, газа, пороха, горелого, духов, бензина, чеснока и так далее. Погода – это почти всегда важно. При всем этом ни в коем случае нельзя спешить с выводами – ответ на задачу всегда находится в конце, а не в начале. Ну и конечно, ни в коем случае нельзя давать вовлечь себя в дискуссию зевакам...

Лаврова долго смотрела мне в глаза, потом негромко спросила:

– Последняя из этих муровских заповедей – для меня?

Я снова перевел взгляд на улыбающуюся королеву, затем поднял голову:

– Перестаньте, Лена. Я вас старше не только по званию. Я вас вообще старше. И гораздо опытнее. И все равно очень многого еще не знаю. И когда меня, как котенка, тычут носом, я не обижаюсь, а учусь. Во всяком случае, стараюсь не обижаться. По-моему, это единственно приемлемая программа для умного человека...

– Поскольку вы не только старше меня вообще, но и по званию, будем считать, что вы меня убедили, – пожала плечами Лаврова.

– Ага, будем считать так, – сказал я, сдерживая злость. – Я точно знаю, что это самая лучшая позиция убеждения.

– Несомненно, – подтвердила Лаврова. – Правда, с этой позиции убеждение уже иначе называется...

– Вот и прелестно, – согласился я. – Начните выполнение моего приказа с общего осмотра и составления плана места преступления...

Лаврова с ненавистью посмотрела на улыбающуюся королеву и пошла в кабинет. Я сказал ей вслед:

– И про заповеди не забудьте...

Халецкий не спеша проговорил:

– Если мне будет позволено заметить, то обращаю ваше внимание, Тихонов, на то, что я, в свою очередь, старше и опытнее вас.

– Будет позволено. И что?

– Что? Что вы не правы.

– Это почему еще?

– В своей молодой, неутоленной жизненной сердитости вы ошибочно полагаете, будто через несколько лет, когда Лена станет опытным, зрелым работником, она будет с душевной

теплотой вспоминать о строгом, но справедливом и мудром первом учителе сыска Станиславе Тихонове...

– Не знаю, возможно. Я как-то не думал об этом.

– Так вот – нет. Не будет она с душевной теплотой вспоминать о вас. Она будет вспоминать о вас как о нудном и к тому же жестоком субъекте.

– Ной Маркович, неужели я нудный и жестокий субъект? С вашей точки зрения?

– Вас же не интересует, что я буду думать о вас через несколько лет. А сейчас, будучи гораздо старше и опытнее, как вы говорите, – вообще, я полагаю, что через плотину вашего разума регулярно переливаются волны молодой злости и нетерпимости. Будьте добрее – вам это не повредит.

– Может быть, может быть, – сказал я.

– Так что вы думаете насчет портрета? – спросил Халецкий.

– Я думаю, что где-то здесь поблизости должен валяться гвоздик, на котором он висел.

– Я тоже так думаю, – кивнул Халецкий. – Портрет вор не сбросил: он, видимо, только трогал его, гвоздь выпал, и портрет упал...

Мы давно работали вместе и умели разговаривать кратко. Так люди выпускают в телеграммах предлоги – для экономии места, только мы выпускали целые куски разговора и все равно хорошо понимали друг друга.

– Ной Маркович, а вы сможете собрать осколки? – спросил я.

– Я постараюсь...

Халецкий стал распаковывать свой криминалистический чемодан, который за необъятность инспектора называли «Ноев ковчег». Я напомнил:

– Соскобы крови с пола возьмите в первую очередь.

Халецкий взглянул на меня поверх очков:

– Непременно. Я уже слышал как-то, что это может иметь интерес для следствия...

Я еще раз взглянул на портрет. Холодное солнце поднялось выше, тени стали острее, рельефнее, и трещины были уже не похожи на морщинки. Косыми рубцами рассекали они улыбающееся лицо на фотографии, и от этого лицо будто вмялось, затаилось, замолкло совсем...

– Не стойте, сядьте вот на этот стул, – сказал я соседке Полякова.

Непостижимость случившегося или неправильное представление о моей руководящей роли в московской милиции погрузили ее в какое-то нервное состояние. Она безостановочно проводила дрожащей рукой по волосам – серым, непричесанным, жидким – и все время повторяла:

– Ничего, ничего, мы постоим, труд не велик, чин не большой...

– Это у меня чин не большой, а труд, наоборот, велик, – сказал я ей, – так что вы садитесь, мне с вами капитально поговорить надо.

Она уселась на самый краешек стула, запахнув поглубже застиранный штапельный халатик, и я увидел, что всю ее трясет мелкой дрожью. Она была без чулок, и я против воли смотрел на ее отекавшие голые ноги в тяжелых синих буграх вен.

– У вас ноги больные? – спросил я.

– Нет, нет, ничего, – ответила она испуганно. – То есть да. Тромбофлебит мучит, совсем почти обездвижила.

– Вам надо кокарбоксилазу принимать. Это от сердца, и ногам помогает. Лекарство новое, оно и успокаивающее – от нервов.

Она посмотрела на меня водянистыми испуганными глазами и сказала:

– На Головинском кладбище для меня лекарство приготовлено... Успокаивающее...

Я махнул рукой:

– Это успокаивающее от нас от всех не убежит. Да что вы так волнуетесь?

Она смотрела в окно сквозь меня – навывлет, беззвучно шевелила губами, потом еле слышно, на вздохе, сказала:

– А как мне не волноваться – ключи от квартиры только у меня были...

– А почему у вас?

– Надежда Александровна, Льва Осипыча супруга, мне всегда ключи оставляла. Сам-то рассеян очень, забывает их то на даче, то на работе, и стоит тут под дверью, кукует. Потом, помогаю я по хозяйству Надежде Александровне...

– Где ключи сейчас?

Она вынула из карманчика три ключа на кольцо с брелоком в виде автомобильного колеса.

– Вы ключи никому не передавали?

Женщина еще сильнее побледнела.

– Я спрашиваю вас: вы ключи никому не давали? Хотя на короткое время?

– Нет, не давала, – сказала она, и тяжелые серые слезы побежали по ее пористому лицу.

С шипением вспыхнул магний – Халецкий с разных точек снимал комнату, – соседка вздрогнула, и слезы потекли сильнее. Из спальни доносился острый звук шагов Лавровой, отчетливо стучали ее каблучки, тяжело сопел под нос Халецкий, беззвучно плакала усталая старая женщина. Я пошел на кухню и налил в никелированную кружку воды из-под крана, вернулся, протянул ей. Она кивнула и стала жадно пить воду, будто то, что она знала, нестерпимо палило ее, и зубы все время стучали о край кружки, и этот звук отдавался у меня в голове, как будто по ней барабанили пальцем.

Я не торопил ее. Не знаю почему, но уже тогда я понял, что спешить в этом деле некуда. Вопреки модной ныне теории, что интуиция, предчувствие, нюх и тому подобные атрибуты нашего ремесла сыщику сегодняшнего дня вредны с точки зрения научной и социальной, я все-таки верю в интуицию сыщика, более того, я просто уверен, что человеку без интуиции в уголовном розыске делать совершенно нечего. А то, что интуиция эта самая нас периодически подводит, – так тут уж ничего не попишешь: издержки производства. Вот и тогда, в самом еще начале, я почувствовал, что повозимся мы с этим делом всерьез...

– Вы не хотите говорить, у кого побывали ключи? – спросил я, а она отрицательно замотала головой и хрипло сказала, глядя на меня невидящими глазами:

– Я честный человек! Я всю жизнь работаю, я копейки чужой за всю жизнь не взяла... Взгляните на мои руки, на ноги посмотрите – а мне ведь всего сорок семь!

– Мне и в голову не приходило вас подозревать. Но замки целы, квартира открыта ключами. Поэтому я хочу выяснить, у кого в руках могли побывать ключи...

– Ничего я не знаю. Ключи у меня дома были.

– Ну не хотите говорить – не надо. Вы, Евдокия Петровна, живете этажом ниже?

– Да.

– Кто еще с вами там проживает?

– Муж. Сынок два месяца назад в армию ушел, дочка замужем – отдельно живет.

– Как вы обнаружили кражу?

Из спальни вышла Лаврова.

– Леночка, можно вас на минуту?

Я быстро нацарапал на бумажке: «В отд. мил.: Обольников Сергей Семенович – кто такой?» Лаврова кивнула и пошла в кабинет.

– Так что, Евдокия Петровна, как вы узнали?

– Поднялась и увидела, что дверь не заперта.

– Простите, а зачем поднимались?

Женщина судорожно крутила в руках пояс от халата.

– Ну как зачем?.. Проверить... все ли здесь в порядке...

- Вас просили об этом хозяева?
- Нет... да, то есть они меня иногда просят об этом. Когда уезжают...
- И сейчас тоже просили?
- Да... не помню, но, по-моему, просили...
- А чем занимается ваш муж – Сергей Семенович?
- Он шофером работает.
- Где он сейчас-то?
- В больнице.
- Ну-у, а что с ним такое?

Кровь бросилась ей в лицо, я увидел, как цементная серость щек стала отступать, сменяясь постепенно багровыми нездоровыми пятнами, будто кто-то зло щипал ее кожу.

– Алкоголик он. В клинику на улице Радио его положили, – медленно сказала она, и каждое слово падало у нее изо рта, как булыжник.

- Когда положили?
- Вчера. Приступ у него начался.

Я положил ручку на стол и постарался поймать ее взгляд, но хоть она и смотрела на меня почти в упор, казалось, меня не замечала – выплывшие серые глаза незряче скользили мимо.

– Приступ? – переспросил я не спеша. – В этой болезни приступ называется запоем. Когда он запил?

– В пятницу, позавчера. – Она больше не плакала, говорила медленно, устало, безразлично.

Вошла Лаврова, положила передо мной листочек. Ее круглым детским почерком было торопливо написано: «Характеризуется крайне отрицательно. Пьяница, бьет жену, а раньше и детей, дважды привлекался за мелкое хулиг., неразборчив в знакомств. Работает шофером в таксомоторном парке, раньше был слесарем-лекальщиком 5-го разряда на заводе „Знамя“».

– Евдокия Петровна, а к мужу вашему, Сергею Семеновичу, ключи в руки не попадали? – спросил я.

Она шарахнулась, как лошадь от удара, и незрячие глаза ожили: задергались веки, мелко затряслись редкие реснички.

– В больнице он, говорю же я, в больнице, – забормотала она быстро и беспомощно, и снова закапали – одна за другой – мутные градины слез.

Да, сомнений быть не могло: Сергей Семенович, муженек запойный, папочка нежный, про ключики знал, держал он их в ручонках своих трясуших, это уж как пить дать...

– Евдокия Петровна, я вам верю, что вы честный человек. Идите к себе домой и подумайте обо всех моих вопросах. И про Сергея Семеновича подумайте. Я понимаю: он вам муж, кровь родная, но все-таки всему предел есть. Вы подумайте: стоит он тех страданий, что вы из-за него принимаете сейчас? А я к вам попозже спущусь. У вас ведь телефона нет?

- Нет, – покачала она равнодушно головой.
- Ну и хорошо, никто звонками вас отвлекать не будет. Часа через два я зайду.

Бессильным лунатическим шагом, медленно переставляя свои отечные, изуродованные венами ноги, пошла она к двери, и я услышал, как, уже выходя из комнаты, она прошептала:

- Господи, позор какой...
- ...Халецкий снимал на дактопленку отпечатки пальцев со шкафа. Повернулся ко мне:
- Ну что?
- Трудно сказать. Ключи у него, во всяком случае, были. Работал раньше слесарем...
- Думаєте, навел?
- Не знаю. Алиби у него при всем том стопроцентное. В этой милой больничке режим –

будьте спокойны, оттуда не сбежишь на ночь. Но разрабатывать его придется всерьез. Да и на жену я надеюсь – она мне обязательно сегодня про него что-нибудь поведает.

– Э, не скажите. Такие женщины если замыкаются, то всё, хоть лопни, – рта не раскроют.

– Поживем – увидим, – сказал я и позвал Лаврову.

– Да? – раздался ее голос из кабинета.

– Идите сюда, протокол будем писать здесь.

Я снова уселся за стол, разложив листы протокола осмотра.

– Вы диктуйте, а я буду записывать, – сказал я.

– Пожалуйста, – кивнула она, будто так оно и было правильнее.

Халецкий, натянув тонкие резиновые перчатки, стоя на коленях, очень аккуратно – один к одному – начал подбирать с пола осколки стекла, складывая из них, как из мозаики, единую плоскость. На воощеном паркете, как свежие раны, были видны соскобы.

– Исходные данные заполнили? – спросила Лаврова.

– Заполнил.

– Пишите: «Квартира расположена на пятом этаже, других квартир на лестничной клетке нет. Дверь изнутри обита белым листовым железом. Замки повреждений не имеют, ригели и запорные планки в порядке, на обвязке двери против замка видна вмятина. По-видимому, вор проник в квартиру путем подбора ключей...»

– Та-ак, этого писать не будем.

– Почему? – подняла голову Лаврова.

– В протокол надо вносить только факты, – сказал я. – А насчет вора – это пока только мечтания... Ну-с, дальше.

– «...На полу в прихожей три обгоревшие спички... Здесь же лежит проигрыватель, рядом, слева, черные мужские полуботинки новые... на нижней полке горки в беспорядке большие медали с надписями на английском, французском, немецком и японском языках – в количестве одиннадцать штук, все на имя народного артиста СССР Льва Осиповича Полякова, окна в порядке, створки и рамы повреждений не имеют, форточки заперты на шпингалеты, опорные крючки которых повернуты и закреплены в обойме... слева на тумбе – радиоприемник, на котором стоит бюст Полякова... работы скульптора Манизера...»

– Вы забыли про поднос на колесиках, – сказал я, не отрываясь от записей.

– Это называется сервировочный столик.

– Тем более надо указать, – усмехнулся я.

– До него еще не дошла очередь...

– Одну минуту. Ной Маркович, когда у вас дойдет очередь до сервировочного столика, посмотрите внимательно, нет ли на нем следов пальцев.

– «...В спальне гардероб, встроенный в стену, раскрыт, одежда валяется на полу в беспорядке. Здесь же на полу туфли, сумки, чемодан импортный мягкий с разрезанной верхней крышкой... в кресле лежит подсвечник – трехсвечный шандал с обгоревшими более чем наполовину свечами... На полу восемь листов сгоревшей бумаги, пепел значительно поврежден. Здесь же валяются принадлежности скрипичных инструментов... В спальне разбросаны вещи, белье, на полу – двенадцать коробочек от ювелирных изделий...»

Лаврова положила на стол желтый металлический диск:

– Это «Диск д'Ор» – золотая пластинка, которая была записана в честь Полякова в Париже. Здесь собрана его лучшая программа...

– Прекрасно, – сказал я. – Что, перекур? Давайте передохнем, закончим общее описание и тогда составим протокол на каждую комнату в отдельности.

– А зачем отдельные протоколы?

– Перестраховка. Если мы с вами, Леночка, не справимся с этим делом, то хоть протокол надо составить так, чтобы и через десять лет следователь, взяв его в руки, представил обстановку так же ясно, как мы видим ее сейчас.

– Откуда такой пессимизм, Станислав Павлович?

– Это не пессимизм, Леночка. Это разумная предосторожность. В нашем деле всякое случается.

– Но ваша любимая сентенция – «нераскрываемых преступлений не бывает»?

– Полностью остается в силе. Если мы с вами не раскроем, придет другой человек на наше место: более талантливый, или более трудолюбивый, или, наконец, более удачливый – тоже не последнее дело.

– А если и тому не удастся?

– Тогда, наверное, нам отвинтят головы.

– Ой-ой, это почему? Перед законом все потерпевшие равны – независимо от их должностного или общественного положения. По-моему, я это от вас и слышала.

Я засмеялся:

– Я и не отказываюсь от своих слов. Но было бы неправильно, если бы мы позволили ворунам безнаказанно шарить в квартирах наших музыкальных гениев.

– Понятно. А в квартире обыкновенного инженера можно?

Я с интересом взглянул на нее, потом сказал:

– Эх, Леночка, мне бы вашу беспечность! От нее независимая смелость ваших суждений.

– Подобный выпад нельзя рассматривать как серьезный аргумент в споре, – спокойно сказала Лаврова.

– Это верно, нельзя. Скажите, вам никогда не приходило в голову, что наша работа в чем-то похожа на шахматную игру?

– А что?

– А то, что нельзя играть в шахматы, видя перед собой только следующий ход. В шахматах побеждает тот, кто может намного вперед продумать свои ходы и их железной логикой навязать противнику удобную для себя контригру – чтобы она ложилась в рамки продуманной тобой комбинации...

– Какой же вы продумали ход?

– К сожалению, в наших партиях противник всегда играет белыми – первый ход за ним. Причем, вопреки правилам, ему удается сделать сразу несколько.

– Ну, е2 – е4 он сделал. Какова связь с нашим спором?

Я задумался, будто забыл о ней, потом спросил:

– Не понимаете? Сейчас придет хозяин квартиры – народный артист СССР, лауреат всех существующих премий, профессор Консерватории Лев Осипович Поляков. Он, как вам это известно, гениальный скрипач. Теперь он еще называется «потерпевший». И подаст нам заявление, которое станет документом под названием лист дела номер два. Вот тут мы с вами можем узнать, что есть еще один потерпевший... Этого я боюсь больше всего...

– Кто же этот потерпевший?

В прихожей хлопнула дверь. Я обернулся. В комнате стоял Поляков.

Глава 2

Гений

От нестерпимого блеска солнца болели глаза, и вся Кремона, отгородившись от палящих лучей резными жалюзи, погрузилась в дремотную сиесту. Горячее дыхание дня проникало даже сюда, в покрытый виноградной лозой внутренний дворик: каменные плитки пола дышали жаром. Прохладно плескал лишь вспыхивающий искрами капель маленький фонтанчик посреди двора, но у Антонио не хватало смелости спросить воды. Великий мастер, сонный, сытый, сидел перед ним в деревянном кресле, босой, в шелковом турецком халате, перевязанном золотым поясом с кистями, и мучился изжогой.

– Нельзя есть перед сном такую острую пищу, – сказал мастер Николо грустно.

– Да, конечно, это вредит пищеварению, – готовно согласился Антонио, у которого с утра во рту крошки не было.

Мастер Николо долго молчал, и Антонио никак не мог понять – спит или бодрствует он, и нетерпеливо, но тихо переминался на своих худых длинных ногах, и во дворике раздавался лишь ласковый плеск холодной воды в фонтане и скрип его тяжелых козловых башмаков. На розовой лысине мастера светились прозрачные круглые капли пота.

– Чего же ты хочешь – богатства или славы? – спросил наконец мастер.

– Я хочу знания. Я хочу познать мудрость ваших рук, точность глаза, глубину слуха. Я хочу познать секрет звука.

– Ты думаешь, что возможно познать и подчинить себе звук? И по желанию извлекать его из инструмента, как дрессированного сурка?

Антонио облизнул сухие губы:

– Я в этом уверен. И вы это умеете делать.

Мастер засмеялся:

– Глупец! Сто лет мы все – мой дед Андреа, дядя Антонио, мой отец Джироламо и я сам – Николо Амати – пытаемся научиться этому. Но умеет это, видимо, только Господь Бог и всякого, кто приблизится к этому умению, покарает, как изгнал Адама из рая за познание истины. Если ты превзойдешь меня в умении своем, то приблизишь к себе кару Божью. Тебя не пугает это?

Антонио подумал, затем качнул головой:

– Ищите и обрящите, сказано в Писании. Если бы я знал, что вы дьявол, обретший плоть великого мастера, я бы и тогда не отступился.

Старик оживился:

– Ага, значит, и ты уже наслушался, что Николо Амати якшается с нечистой силой? Не боишься геенны огненной?

– Нет ада страшнее, чем огонь неудовлетворенных страстей и незнания...

– Ты жаден и смел, и это хорошо. Но ты хочешь моей мудрости и моего умения. Что ты дашь мне взамен?

– Разве спрашивает об этом оливковое дерево у молодой ветви своей, на которой еще не созрели плоды?

– Но ты не ветвь древа жизни моей, – сурово сдвинул клочкастые седые брови Амати.

– Вы богаты и славны, великий мастер. Богатство и слава щедро напоили ветви древа жизни вашей. Но ветви не дали плодов. Сто лет ищет род Амати секрет звука...

– Мой сын Джироламо продолжит мое дело. И моя рука еще тверда, а глаз точен.

– Джироламо, я уверен, укрепит славу вашего дома. Но он еще ребенок. И такое богатство нельзя держать в одном месте. Разумнее его было бы разделить...

– Ты уже был резчиком и музыкантом. Почему я должен верить, что ты не раздумаешь быть скрипичным мастером?

– То были необходимые ступени к саду ваших знаний. Нет мечты у меня более сильной и святой, чем работать у вас.

– А что ты умеешь?

– Учиться...

Учеником был принят Антонио Страдивари к Николо Амати – без оплаты, за еду и науку...

* * *

Я сразу узнал Полякова. Тысячи раз я видел его по телевизору и в киножурналах, портреты в газетах и на афишах, и я был готов к тому, что он появится с минуты на минуту, и хорошо знал, кто он такой. А мы были для него неизвестными пришельцами – посторонние, чужие люди, которые почему-то хозяйничают в его доме, где все перевернуто, развалено, намусорено – по всей квартире до самых дверей, у которых предупреждением о беде стоял постовой милиционер.

От этого замерло на лице Полякова досадливое удивление, хотя в глазах еще плавала, постепенно угасая, надежда: все это чья-то нелепая шутка, глупый и злой розыгрыш от начала до конца – не было никакой кражи, и не было звонка из милиции на дачу с просьбой срочно явиться в Москву на квартиру, или, наоборот, был звонок, но это какой-то дурак решил так его разыграть, и пропало воскресное утро, вырванное наконец из сумасшедшего потока повседневной суеты, утомительной работы, невозможности подумать спокойно и в одиночестве, погулять в замерзшем солнечном лесу. И я видел, как растаяла эта надежда – будто льдинка на жарком июльском асфальте. Ушло выражение досадливого удивления, и лицо его – худое, усталое лицо с тяжелым подбородком боксера и грустными глазами апостола – затопила обычная человеческая растерянность, и кривая жалобная улыбка помимо его воли наискось перерезала лицо.

Так мы и стояли молча, лицом к лицу, не зная, что надо сказать в этой ситуации, а он все улыбался этой невыносимой улыбкой, которая для меня была пыткой. Потому что только мы двое знали сейчас масштаб случившегося несчастья. Но пока мы говорили с Лавровой, я старательно отгонял от себя эту мысль. А теперь, глядя на его жалкую кривую улыбку, я понял, что произошло именно *это*. Так бессмысленно и страшно улыбаются люди, которым миг назад принесли разящую весть о потере кого-то очень близкого. Он облизнул пересохшие губы и хрипло спросил:

– Скрипка?! В шкафу?..

– ...Постарайтесь вспомнить, что еще пропало из квартиры?..

Он сидел в глубоком кресле, высоко задрав худые колени, которые выпирали сквозь серую ткань брюк, и ладонями держал себя за лицо, отчего казалось, будто голова его украшена двумя белыми ветками. Поляков меня не слышал. Потом он поднял голову и сказал:

– Да-да, конечно, наверное... Что вы сказали, простите?

– Мне нужно, чтобы вы перечислили пропавшие из дома вещи.

Поляков пожал плечами:

– Я затрудняюсь так, сразу... Жена попозже приедет, она, наверное, точно скажет. Но это все не имеет значения. Пропала скрипка... *Скрипка моя пропала!*.. – сказал он сдавленным голосом, и весь он был похож на горестно нахоленную, измученную птицу.

Я не знал, что сказать, и неуверенно спросил:

– Вы, наверное, привыкли к этому инструменту?

Он поднял голову и посмотрел на меня удивленно, и по взгляду его я понял, что сказал нечто невероятное.

– *Привык?* – переспросил он. И голос у него все еще был удивленно-раздумчивый. – Привык? Разве человек к рукам своим, или к глазам, или ушам своим привыкает? Разве к детям или родителям привыкают?..

Желая выкрутиться из неловкого положения, я брякнул еще одну глупость:

– Да, это, видимо, редкий инструмент...

Поляков встал так стремительно, будто его выбросила из кресла пружина. Он быстро прошел по комнате, достал из письменного стола пакет, раскрыл его:

– Это паспорт моей скрипки. Позвольте задать вам вопрос, молодой человек...

Я кивнул.

– Вы дежурный следователь или будете заниматься этим делом до конца?

– Я старший инспектор Московского уголовного розыска и буду вести дело о краже в вашей квартире. Моя фамилия Тихонов.

Поляков походил по комнате в задумчивости, потом резко повернулся ко мне:

– Перед тем как вы приступите к своему делу, я хочу поговорить с вами. Я уверен, что наговорю массу банальностей, как всякий неспециалист. Но об одном все-таки я хочу вас попросить: сделайте все, что в ваших силах, для отыскания скрипки. Я уже вижу, что украли большую сумму денег, много вещей, но клянусь вам жизнью: если бы у меня потребовали все имущество и вернули инструмент, я был бы счастлив...

Он говорил сбивчиво, слова накапливали у него в горле и, стремясь одновременно вырваться наружу, сталкивались, застревали, речь от этого получалась хриплая, задушливая. Он был бледен той особой синеватой бледностью, что затопляет лица внезапно испуганных или взволнованных нервных людей, и сквозь эту бледность особенно заметно проступала неживым коричневым цветом кожная мозоль на шее под левой щекой – печать усердия и терпения гения, след тысяч часов упражнений на скрипке.

Поляков прижал паспорт к груди и сказал:

– Я понимаю, что говорю какие-то совсем не те слова, но мне очень важно, чтобы вы поняли масштаб несчастья. Дело в том, что скрипка – единственная вещь, не принадлежащая мне в этом доме...

– То есть как? – спросила незаметно вошедшая Лаврова.

– Моя скрипка – общенациональное достояние. Владеть, хозяйствовать над ней одному человеку так же немыслимо, как быть хозяином Царь-пушки. Скрипка, на которой я играю... – он запнулся, и губы его болезненно скривились, – на которой я играл, принадлежит всему народу, она собственность государства...

Поляков достал из кармана металлический тюбик, трясущимися пальцами отвинтил крышку и вытащил плоскую белую таблетку, кинул ее под язык, и по легкому запаху мяты я догадался, что это валидол.

– Этой скрипке, – сказал он, тяжело вздохнув, – двести сорок восемь лет. Последние тридцать шесть лет на ней играл я. Взгляните, – протянул он мне паспорт скрипки.

Но у него не было времени ждать, пока я прочту, он торопливо заговорил снова:

– Это «Страдивари» периода расцвета. Одно из лучших и самых трудных творений мастера. Он изготовил ее в 1722 году и назвал «Санта-Марией». На нижней деке его знак – год, мальтийский крест и надпись: «Антониус Страдивариус». Скрипка темно-красного цвета, с резным завитком. У инструмента есть какая-то формальная международная страховая цена, но это ведь все символика – скрипка цены не имеет. Звук ее уникален, он просто неповторим...

В изнеможении Поляков сел в кресло и снова стал похож на больную птицу.

Он посидел в задумчивости, потом заговорил, но мне было понятно, что слова его сейчас лишь легкий, полустершийся отпечаток проносящихся в голове мыслей и воспоминаний.

– Когда я впервые взял ее в руки, меня охватило предчувствие счастья, хотя я еще не тронул струн. Она была нежна, как ребенок, и загадочно-трепетна, как женщина. Такое бывает в первой любви. И еще – когда впервые берешь на руки своего ребенка... но свой ребенок и первая любовь – это мир, открывающийся в общении. Я провел смычком по струнам... Она заплакала, закричала, засмеялась, запела, заговорила... Она открыла мне новый свет, я долго-долго ждал свидания с ней... Мое сердце тогда не выдержало этой встречи, и я заплакал от счастья, и надо мной все смеялись, но они не знали, что я встретил ее, как находит лодку плывущий в океане. Я читал этот мир в нотах, я слышал его в душе, но без нее я не мог рассказать о нем людям... Я играл, играл часами, без остановки, и она открывала мне все новые горизонты звука... Мы никогда не разлучались, она объехала со мной весь мир, и я видел, как люди плакали, слушая ее волшебный голос. Она была всемогуща и беззащитно-хрупка, как ребенок... Тридцать шесть лет назад мне вручил ее нарком, и мы с ней не расставались...

Да, это были отраженные вслух мысли, потому что так можно говорить или с самим собой, или играя на публику, но Поляков не играл на нас – я полагаю, он нас вообще не замечал. Воцарилось долгое, тягостное молчание. Потом из прихожей вошел Халецкий, держа в руках вывинченные дверные замки.

– Вам придется сегодня ночевать, закрыв дверь на цепочку, – сказал он Полякову. – Замки мы должны взять с собой для исследования. На сутки.

Поляков кивнул.

Я сказал ему сухо, чтобы вывести его из транса официальностью обстановки:

– Мы сделаем все возможное для того, чтобы найти преступника. Но вы должны нам помочь...

Поляков развел руками:

– Чем я-то могу вам помочь?

Он сидел в своем кресле, совершенно раздавленный случившимся, торчали во все стороны угловатые острые локти, колени, причудливо были заломлены кисти, черные озера тоскующих глаз, подбородок на плече – будто эту диковинную птицу разобрали на части и как попало побросали в глубокое плюшевое гнездо кресла. На мгновение во мне шевельнулось недоброе чувство, смешанное с недоумением: это был не гений и не великий маэстро – это был потерпевший, самый обычный потерпевший. Я сказал строго:

– Ну-ка, Лев Осипович, соберитесь, пожалуйста! Нельзя так распускаться! Без вашей помощи я не смогу найти вора.

Поляков очень грустно взглянул на меня, и я подумал, что мне не надо смотреть ему в глаза: они, как омуты, поглощали меня, замедляли реакцию, это были глаза не потерпевшего, удрученного кражей, а скорбящего Демона, доброго фанатика, страдающего гения. Нет, он душевно больше меня, и если он эмоционально перехватит инициативу, я не смогу заставить его помочь мне. И, не давая ему ответить, я сказал:

– У вас *особая* кража, поэтому вы должны мне помогать. И ваша помощь сейчас – в мышлении. Вы должны отбросить все переживания и мобилизовать до предела память, способность спокойно и методично рассуждать. Тогда мы сделаем первый шаг к возвращению скрипки...

– Вы думаете, удастся поймать вора? – спросил Поляков.

Я сел в кресло напротив него:

– Разговор у нас мужской?

– Конечно.

– Тогда слушайте. Все мы знаем: в мире нет окончательных тайн. Ничего нет тайного, что когда-нибудь не становится явным. Но когда я приезжаю на место преступления, меня часто охватывает томительное ощущение бессилия. Вокруг толпятся зеваки, потерпевшие, свидетели – и все ждут от меня, что я посмотрю окрест своим профессиональным взором и, как фокусник, вытащу из рукава... вора. А я ведь знаю в этот момент не больше их, мне так же

трудно представить невидимое, как и всем им – тем, кто стоит вокруг и ждет чуда. Но чудес, как и тайн, не бывает. Поэтому я начинаю медленно, методично думать и искать, запоминать все, что мне говорят, сравнивать, оценивать, и в конце концов начинает проясняться истина. Понимаете, для отыскания ее не нужны никакие чудеса, а только спокойствие, терпение и труд. Вот так я и намерен искать скрипку «Страдивари». И хочу, чтобы вы, тщательно подумав, вспомнили, что пропало из квартиры.

– Да я же вам сказал, что сейчас это не имеет значения...

– Имеет, – перебил я. – Ваш «Страдивари» на рынок не понесешь, а золотые часы, например, какой-нибудь приезжий продавец мимозы купит у вора с большим удовольствием...

Поляков прошелся по комнате. Мои откровения не то чтобы успокоили, но по крайней мере отвлекли его от горестных раздумий.

– Похищены деньги, – сказал он, откашлявшись, как будто собирался декламировать.

И вообще, сейчас, когда он немного отвлекся от мысли о пропаже скрипки и стал считать, что именно у него было украдено из личных вещей, домашнего имущества, появилась в нем какая-то застенчивая неловкость, как будто он стыдился всего происходящего. Я давно заметил эту болезненную застенчивость у обворованных людей – к тяжести потери примешивается какой-то нелепый подсознательный стыд, ощущение, что, ограбив тебя, вор еще и посмеялся над тобой, выставив дураком на всеобщее обозрение – злорадное или сочувственное, но, во всяком случае, ты становишься предметом всеобщих пересудов и жалости.

Поляков перечислял похищенное, расхаживая по комнате, Лаврова писала протокол:

– «Ордена... лауреатские медали... золотой ключ от ворот Страсбурга... транзисторный приемник, почетная цепь от Токийского филармонического оркестра... магнитофон марки „Филипс“... два чемодана...»

Потом мы сели за стол и стали заполнять длинный, разлинованный мной лист – список людей, входивших в дом Полякова. На каждой следующей фамилии Поляков вскакивал со стула, хватал себя худыми руками за грудь и говорил мне с возмущением:

– Ну как вы даже могли подумать про этого человека?

– А я ничего про него не подумал, – отвечал я меланхолично. – Я его пока только записал. Там посмотрим...

– А теперь давайте вновь вернемся к вопросу о слесаре, – сказал я Полякову. – Значит, у вас перестал работать верхний замок в двери...

– Да. Это было приблизительно две недели назад. Я сказал жене за завтраком, что надо вызвать слесаря, потому что замок мешал притворять плотно дверь. В это время пришел водопроводчик из домоуправления. Краны какие-то он смотрел в ванной и на кухне. Я ему сам дверь открывал. А когда он закончил работу, я его спросил, не разбирается ли он в замках. Он согласился посмотреть. Возился минут пятнадцать, все исправил и ушел.

– Ключи вы ему давали?

– Ну а как же? Надо ведь было посмотреть, как работает замок. – Полякова раздражала моя несообразительность.

Но я продолжал гнуть свою линию:

– Вы ему давали ключ только от испортившегося замка?

– Да нет же! Какой смысл снимать его со связки? Я ему всю и дал... И потом, он ведь никуда не уходил!

– Он при вас чинил, вы сами никуда не отлучались?

Поляков возмущенно пожал плечами:

– Не помню! Но уж, наверное, я не стоял у человека над душой! – Он задумался на мгновение и добавил: – Я даже точно помню, что не стоял: мне звонили из школы для больных туберкулезом детей, просили выступить у них.

Я сделал пометку у себя в записной книжке и спросил:

– И что вы им ответили?

Надо полагать, Поляков никак не мог решить насчет меня – с кем он имеет дело: с дураком или таким бестактным типом. Он произнес недовольно:

– Я объяснил, что у меня очень плотно расписано время. Но для них постараюсь выкроить час – уж очень они просили.

– Ну хорошо, – сказал я и показал ему вороненый короткий ломик, который Халецкий нашел в складке кресла между спинкой и сиденьем. – Вы точно знаете, что этого предмета у вас дома раньше никогда не было?

– Как вам сказать... Все-таки, мне кажется, не было, – ответил он.

Я подумал, что ничего нет в этом удивительного: зачем виртуозу-скрипачу воровская «фомка»? «Фомка» была отлично сделана: с расплюснутым опорным концом, заостренным краем, удобной широкой ручкой. На черни металла был отчетливо виден давленный знак – две короткие молнии. Видимо, вор в темноте положил ее на кресло и потерял.

– Свечи в шандале вы не зажигали?

Поляков покачал головой:

– Нет, мы держали их как памятный приятный сувенир. Мне преподнесли их... А-а! – Он махнул рукой.

Вор работал сначала при одной свече, потом, видимо, ему понадобилось сжечь листы, и он зажег две другие, оттого они и обгорели значительно меньше первой.

Вошла Лаврова с телеграммой в руках:

– Лев Осипович, в почтовом ящике лежала на ваше имя телеграмма.

Поляков сорвал наклейку, быстро пробежал глазами текст, еще раз прочитал, протянул мне бланк:

– Чушь!.. Ничего не понимаю... Таратута какой-то...

В телеграмме было написано: «Записи ваших произведений направляю бандеролью. Таратута». Пометка: «В случае отсутствия адресата оставить в почтовом ящике». Отправлено вчера в 9:15 утра, доставлено в 17:45.

– А вы не знаете этого Таратуту?

– Понятия не имею, первый раз слышу. И никаких записей я не жду – я уже давно не записывался.

– Скажите, Лев Осипович, в каких вы отношениях с вашими соседями Обольниковыми?

– С Обольниковыми? В хороших отношениях, наверное. Не знаю. Надо у жены спросить. Ей, по-моему, Евдокия Петровна по хозяйству помогает. Да, наверняка в хороших: жена у них оставляет для меня ключи.

– В ваше отсутствие они не заходят к вам в квартиру?

– А зачем? Наверное, нет. Думаю, что не заходят.

– Ладно, будем заканчивать. Скажите, слесарь, ремонтировавший дверной замок, из вашего ЖЭКа?

– Да, он, по-моему, сказал, что он из домоуправления. Но я, помнится, записал в книжку номер его телефона – если что-то понадобится срочно. Мне очень понравилось, как он быстро и точно работал. Сейчас я возьму из прихожей телефонную книжку...

Он вышел из комнаты, и через мгновение я услышал его удивленный возглас:

– Послушайте, здесь почему-то много листов вырвано!

Я встал, но он шел мне навстречу, протягивая раздерганную книжку. Я взглянул на те листочки, изглоданные пламенем, растоптанные, что бережно собирал с полу Халецкий, – сквозь сумрак пепла отчетливо проступала линовка.

– Вот они, Лев Осипович, листочки из книжки, – показал я. – На какую букву вы его записали?

– На «С» – слесарь, дядя Паша, – сказал Поляков; все это казалось ему уже невыносимо запутанным.

Я полистал книжку – страницы с буквы «П» по букву «У» были вырваны. Халецкий распрямился, потер затекшую спину и сказал неожиданно:

– Сила моя совершается в немощи...

– Да-а? – неуверенно переспросил Поляков.

– Наверное, – ухмыльнулся Халецкий. – Это где-то в Писании так сказано. А мы попробуем проверить. Мне для этого придется взять у вас отпечатки пальцев...

– Зачем? – удивленно и испуганно спросил Поляков.

– Во-первых, я буду единственным обладателем такого вашего факсимиле, а во-вторых, и это главное, надо будет отличить их от других отпечатков, снятых нами здесь и, возможно, принадлежащих вору.

Я смотрел, как Халецкий бережно и быстро накатывает на дактокарту оттиски пальцев Полякова, пальцев, которые заставляют плакать и радоваться тысячи людей. Эти пальцы, единственные в мире, были в черной копировальной мастике, бессильные, послушные, будто не они вызывают к жизни целые миры, и именно в этот миг я понял чудовищность и нелепость всего происшедшего. Эх, одно слово – криминальный сыск!

Комиссар взял в руки рапорт и стал читать его вслух, далеко отодвинув от глаз, как делают все дальновзоркие люди без очков:

– «...Служебно-разыскная собака Марсель начала работу в 9 часов 21 минуту, взяла след, вышла из кабинета в коридор, проработала угол влево, пересекла коридор и вышла на лестничную площадку, спустилась вниз, пересекла двор и через арку вышла на Садовую-Триумфальную ул., проработала угол вправо, прошла 45–50 метров в сторону пл. Маяковского и на проезжей части работу прекратила...» – Положил рапорт на стол и сказал: – Да-а, негусто. Я помню, лет двадцать назад была такая дурацкая форма в милиции – шашки и шнуры. Вот опасаюсь я чего-то: не превращаются ли собачки наши в такой же бесполезный атрибут формы? А, Качанов, ты что скажешь по этому поводу?

Качанов, наливаясь сердитой краснотой, сказал:

– Разрешите доложить, товарищ комиссар, Марсель мой не атрибут. Двенадцать преступников как-нибудь задержал. А шашки или шнуры там – это не его собачье дело...

Начальник МУРа засмеялся:

– Да ты не сердись, Качанов. Я ведь не тебя и не Марселя попрекаю. Это я скорее нашим оперативным работникам – одного разыскного нюха, видимо, маловато. Научный подход нам надобен, анализ.

Качанов, почувствовав, что угроза миновала, решил окончательно реабилитироваться:

– Так я про то и говорю, товарищ комиссар: собака – животное ведь только, старается сколько может. А свалить на нее легче всего – безответная она. За такое-то время народу там прошло по улице, как на демонстрации.

Он бы еще, наверное, поговорил про своего Марселя, но комиссар покосился на него, и Качанов умолк.

– Мысли, идеи, планы? – сказал комиссар. – Мне уже звонили по этому делу из нашего министерства, из Министерства культуры и Коллекции уникальных музыкальных инструментов. К вечеру, полагаю, уровень звонков поднимется.

Я хорошо понимал его – комиссару предстоит вдоволь наобъясняться. Только я собрался раскрыть рот, как раздался телефонный звонок и комиссар снял трубку:

– Да, я. Здравствуйте. Да, конечно. По этому вопросу сейчас как раз провожу совещание. Слушаюсь. На контроле? Хорошо, есть. Так у нас все дела особой важности. Понимаю я все, не надо мне объяснять, иногда и я на концерты хожу. Слушаюсь. Вечером доложу...

Он осторожно положил трубку на рычаг, помолчал, потом поднял на меня взгляд:

– Ну давай, Тихонов. В твоих железных руках судьба моего инфаркта. – Он усмехнулся, но глаза у него были невеселые.

– По материалам осмотра места происшествия, допросов потерпевшего и соседки представляю картину преступления следующим образом. Кража была совершена между полем и двумя часами ночи одним человеком. Он вход в дом Полякова, хорошо ориентируется в квартире...

– Разъясняй подробнее, – бросил начальник МУРа, делая на бумаге какие-то пометки.

– Из трех шкафов в квартире взломан только тот, где лежала скрипка. Если это не случайность, то это сделал хорошо знакомый с квартирой человек. Либо вору дали точный план. Думаю, что побывал там один человек...

– Почему?

– Перед подъездом после дорожных работ, как всегда, остался незаасфальтированный участок, в котором собралась большая грязевая лужа. Войти в парадное, не ступив в грязь, практически невозможно. Шесть следов от подошв грязных ботинок на паркете однородны – это следы одного человека. Так что в квартире, полагаю, побывал только один человек. Кроме того, я позвонил в Гидрометцентр – мне там дали официальную справку. Приблизительно с полуночи в Москве началось резкое похолодание в связи со стремительным прохождением фронта антициклона. За два часа температура упала на одиннадцать градусов.

– И что? – заинтересовался комиссар.

– Метеорологи категорически утверждают, что в два часа ночи все лужи уже замерзли. Значит, можно предполагать, что вор побывал на квартире Полякова до двух часов...

– Можно, – согласился комиссар. – А почему – от ноля?..

– Это уже из области логических домыслов. Судя по затекам стеарина и пеплу, вор жег свечи и поджигал на них листки из книжки в кабинете Полякова. Окна кабинета выходят на Садовую-Триумфальную, а напротив – мачта уличного освещения, оборудованная двумя мощными люминесцентными светильниками. Мне Поляков говорил, что по вечерам они освещают кабинет, как прожектором. Но, судя по свечам, вору нужен был свет, хотя люстру включить он боялся, чтобы не привлекать внимания. Несоответствие между словами Полякова и поведением вора объясняется просто: в двенадцать часов свет на левой стороне Садовой горит на каждом втором столбе, а на том, что против окон Полякова, как раз гасится.

– Принимаем как рабочую гипотезу, – сказал комиссар. – Что вы скажете, Ной Маркович?

– У меня достижения весьма скромные. – Халецкий заглянул в свои листочки, будто ему предстояло сделать обширный доклад. – Преступник нечаянно сбросил со стены портрет бельгийской королевы и хотел, видимо, поймать его на лету. Но стекло разбилось, и он сильно порезал руку – на полу многочисленные капли крови. Кровь по своей групповой принадлежности довольно редкая. По осколкам мне удалось частично восстановить остекление и снять отпечаток ладони. Правда, по одной ладони нам не удастся получить дактилоскопическую формулу, но это будет у нас про запас – для возможных кандидатов. Кроме того, я снял еще целый ряд отдельных отпечатков, но говорить об их принадлежности покуда рано. И последнее – пепел листов из телефонной книги Полякова. На одном из них был записан телефон слесаря. Ну, с этим предстоит поработать всерьез – может быть, что-нибудь вытянем. У меня все.

– Вопросов нет, – кивнул комиссар. – Тихонов, что со слесарем?

– Сегодня у него выходной день. Я уже побывал на квартире, там застал только мать. Совсем дремучая старуха. Говорит, что еще вчера уехал вместе с женой к тетке в деревню, должен вернуться завтра утром...

– Адрес тетки в деревне? – сухо поинтересовался комиссар.

– Это тетка его жены, так что мать не знает. А у жены в Москве родственников больше нет.

– Тщательно отработать эту линию, – распорядился комиссар. – Все?

– Нет. Там есть один сосед, внушающий мне опасения. Алкоголик, в клинику его положили накануне кражи. Но у него был доступ к ключам от квартиры, я им всерьез займусь. Теперь есть еще один ход: из квартиры похищен магнитофон «Филипс», но сохранился его технический паспорт с номером НВ-182-974. Недавно магнитофон испортили – включили на высокое напряжение, и перегорела обмотка мотора. Купить мотор в магазине вор не сможет: Поляков говорит, что наши моторы к этой модели не подходят. Единственный выход – перемотать обмотку в мастерской...

– Понятно, – сказал комиссар, сделав в блокноте заметку, – завтра подключимся к мастерским. Все?

– Пока все, – развел я руками.

– Какие есть принципиальные версии? – спросил начальник МУРа.

Мы молча посмотрели друг на друга.

– Нет версий, – резюмировал он. – Или есть, но из скромности умалчиваем? Плохо. Плохо все это. – Он сердито постучал пальцами по столу. – Ремесленная работа. Все сделано правильно, аккуратно, вроде даже вдумчиво. Но все это ремеслуха. Ведь все, что вы рассказали, вопиет своими противоречиями. А вы их не замечаете или скромно отмалчиваетесь, боясь попасть впросак. Безобразие это все!

Он поиграл карандашом, бросил его на стол, встал, прошелся по комнате – маленький, уже начавший полнеть, в новом красивом мундире, сидевшем довольно нелепо на его кургузой фигуре. Он снова сел за стол, твердо уперся кулаками в щеки.

– Все это разговоры – «след, ниточка, веревочка»! Тьфу, кустарщина какая противная! Где у вас осмысление всей проблемы в целом? Ну как можно не поставить себя на место вора в такой ситуации? Зачем вор пришел туда? Очистить квартиру. И если бы он вывез из нее все, вплоть до холодильника, меня бы это не удивило. Но он взял *скрипку*! Сколько скрипок в доме Полякова?

– Три. «Страдивари», «Вильом» и безымянная скрипка итальянской работы.

– Где лежали?

– «Вильом» и безымянная в книжном шкафу, а «Страдивари» – отдельно в стенном, запертом.

– Книжный шкаф был заперт?

– Нет.

– Так почему вор не берет лежащие на виду скрипки, а взламывает стенной шкаф? Что ты молчишь, Тихонов? То-то и оно, сказать нечего. А дело в том, что вор знал, какую он берет скрипку! Вывод отсюда? Что вор пришел именно за нею, ибо человек, который покушается на кражу только «Страдивари», отдает себе отчет в том, что стоимость всего остального похищенного не составляет и тысячной части цены «Страдивари». При этом, с риском быть задержанным, он нагружает два чемодана и идет по ночному городу, где в любой момент его может остановить милиционер и поинтересоваться, что это он по ночам таскает в чемоданах. Это ли не поразительное противоречие? Так что, Тихонов, один там был человек?

– Один, – упрямо сказал я, – моя гипотеза не исключает возможности существования группы, организовавшей похищение, но в квартире, мне кажется, был один человек.

Комиссар подумал и сказал мне со смешком:

– На проверку твоих гипотез – срок три дня, а там посмотрим, кто был прав. Я уверен, что кража вещей – просто камуфляж.

– Ничего себе камуфляж! Сколько денег, ценного имущества!

– Это лишний раз свидетельствует о том, что воры знают толк в редких и ценных вещах. Так вот, не забывай, Тихонов, что ты ищешь: нам с тобою всего сроку службы – двадцать пять лет до полной пенсии, а скрипке этой сколько, ты говоришь, возрасту?..

- Двести сорок восемь.
- Вот то-то и оно. И ей надо еще долго служить людям...

Глава 3

Кислая вода лжи

Антонио вздрогнул и поднял голову – в дверях стоял мастер Николо. Желтое пламя свечи металось темными бликами на его толстом красном лице. Амати был грозен и спокоен.

– Объясни мне, мой мальчик, что делаешь ты ночью в мастерской? Разве ты не знаешь, что ученику разрешается входить сюда только вместе со мной?

Антонио испуганно смотрел ему в глаза и видел, как в зрачках мечутся холодные молнии. От слабого дуновения ветерка трепетал на столе листок с записями и цифрами, придавленный деревянным кронциркулем.

– Почему ты молчишь? – спросил Николо. – Твое молчание говорит об испуге, а испуг – о дурных намерениях. Честному человеку нечего бояться...

– Человеку всегда есть чего бояться, – тихо сказал Антонио. – И в первую очередь – себя самого...

Николо Амати захохотал:

– Значит, ты, мальчик, решил за одну ночь узнать то, что ищет род Амати сто лет? Дай сюда листок!

Трясущейся рукой Антонио протянул лист, и Николо, далеко отставив его от глаз, мельком посмотрел, смял и поджег на беглом пламени свечи.

– Ты записывал промер изгиба деки...

Листок догорел в задубелой толстой руке Амати.

– А теперь повтори на память ход кривой верхней деки.

Антонио молчал.

– Ну! – крикнул Амати.

– Три – ноль, три – один, три – один, три – три, – стал быстро перечислять цифры Антонио, их было много, этих цифр. – Три – семнадцать... три – двадцать один...

Амати открыл шкафчик, налил в оловянную кружку палермского алого вина, залпом выпил, и Антонио видел, как несколько капель черными точками пали на кружева его сорочки.

– Если бы мне не жаль было дерева, я велел бы сделать тебе скрипку по этому промеру. Может, у тебя купил бы ее за несколько байокко бродячий музыкант...

– Почему, учитель? Я взял вашу «Анжелу» как образец!

Старый Николо снова захохотал:

– Потому что в сорока трех точках промера ты один раз ошибся, и, кроме меня, этого бы никто не заметил. Но скрипочка твоя годилась бы только для балагана.

– Один раз? – переспросил ошарашенно Антонио.

– Да, один раз. Этого достаточно – скрипка звучать не будет. Но дело не в этом – ты мог и не ошибиться, через несколько лет ты научишься хотя бы мерить правильно. И тогда, как дурацкая бессмысленная обезьяна, ты сможешь скопировать мою скрипку. Доволен?

– Я был бы счастлив сделать что-нибудь подобное, – испуганно сказал Антонио.

– Принеси мне холодной воды и апельсинов, болван. На большее ты все равно не способен.

Антонио подал мастеру глиняный кувшин холодной воды и плетенку с апельсинами. Николо вновь плеснул в кружку вина, долил воды и стал выжимать в нее сочные, ароматные плоды. Апельсины лопались в его толстых сильных пальцах, и в неровном свете свечи казалось, будто над кожицей их поднимается пар. Мастер забыл про Антонио. Потом он поднял голову и посмотрел иронически на него:

– Говоришь, был бы счастлив? А тебе не приходило в голову, почему бы другим мастерам не купить в складчину мою скрипку – они ведь дорогие, – радостно засмеялся Николо. – Разобрать, скопировать и научиться делать скрипки, такие же как мои? А? Ты что думаешь об этом?

Антонио молчал.

– Промер скрипки можно украсть, – сказал Николо. – Разобрать и измерить. А лак ты как украдешь? Лак, который мы варим сто лет, и каждый раз он у нас получается новый? Ты его как украдешь? Он ведь у меня здесь, – постучал себя по красному затылку Аматти. – А без лака не будет звучать скрипка так, чтобы по звуку издали сказали: «Это Аматти!..» Порода дерева, возраст его, место среза, способ промывки, затем сушки, пропитку лаком, нанесение его – тоже украдешь?

Мастер сделал два больших глотка, задумчиво посмотрел на свечу, не спеша сказал:

– Но разве в лаке дело? Это дураки думают, что богатство дома Аматти – секрет лака. Хочешь, расскажу секрет лака, которым покрыта «Анжела»?

Антонио отрицательно покачал головой. Николо выжал в кружку еще один апельсин, поднял глаза:

– Твое счастье, что отказался. А то выгнал бы.

– Я понимаю, – кивнул Антонио.

– Ничего ты не понимаешь, – сказал Николо. – Но я надеюсь, что еще поймешь. В тебе есть одержимость, и жаль, если пропадет это все попусту. Мне ведь не только секрета жалко...

– А чего?

– Тебя. Ты маленький фанатик. Есть такие послушники, но у них дело пустое, умирают в тоске и разочаровании. Даже перед Святым Причастием врут. А ты можешь умереть счастливым...

– Как?

– Искать, учиться, а потом творить. Я сорок три точки промера наизусть помню, потому что каждую искал долгие годы. Если ты не найдешь *своих* точек, значит зря я с тобой вожусь...

– И умру я в раскаянии и тоске... – тихо повторил Антонио.

– Да. И пока ты будешь учиться, тебя не будут покидать муки исканий, страдание неудовлетворенности и стыд бессилия твоего. Истина, как человек, рождается в боли, страшном усилии всего нашего брэнного тела и высоком воспарении души. А скрипка подобна человеку...

– И все-таки я могу не постигнуть этого, – в смятении сказал Страдивари. – Ведь может так случиться, что я и не научусь делать скрипки!

Николо Аматти сидел на верстаке, выпятив толстый свой живот, с любопытством глядя на него из-под седых клочкастых бровей.

– Скрипки не делают. Делают бочки и скамейки. А скрипки, как хлеб, виноград и детей, рожают и взращивают. Не сеют хлеб в январе, не мнут виноград в мае, и человек должен созреть, чтобы родить себе подобных. Свою скрипку ты еще должен зачать в себе и долго вынашивать. Пройдет много времени, и тебе будет казаться, что ничего не меняется. Но незаметно для тебя пальцы твои начнут приобретать гибкость и твердость, глаз станет светел и прям, как солнечный луч, а слух изощрен и трепетен. И тогда воображение представит тебе, как в юношеском сне, сладком, зыбком, мгновенном, то, что ты ищешь. Эта скрипка будет, как первая женщина в твоей жизни – широкими полными бедрами разойдутся обечайки, тонок и строен будет стан ее грифа, изящно, как поворот шеи любимой, наклонится завиток, а эфы загадочными волнующими складками очертят ее лоно. И она подаст тебе свой голос – нежный, ласковый, поющий, и не будет мига более полного счастья – сколько бы тебе ни довелось прожить, – чем это мгновение сладостного обладания! И тебе будет казаться: ничего прекраснее в мире не может быть и продлится это вечно. Но гением становится только тот, кто отдал всего себя творению своему без остатка и в разгаре счастья уже чувствует холодок неудовлетворенности – он уже вновь возродился для мук и страданий в поиске совершенства...

– А знаете ли вы кого-нибудь, учитель, кто достиг совершенства?

Амати усмехнулся и встал.

– Совершенство – это постоянное блаженство. Сиречь состояние, свойственное только святым и идиотам.

– Значит, поиски эти бессмысленны? – с отчаянием спросил Страдивари.

– Да. Если можно считать бессмысленной самую жизнь. Ибо жизнь – это стремление познать совершенство.

– Познать, чтобы стать идиотом?

– Или святым, – сказал Николо, зевнул, перекрестил рот. – Пошли, пора спать. Мне много лет, и до смерти остается совсем мало. Завтра я хочу сделать еще один шаг к познанию...

Мастер не закончил фразы и вышел, хлопнув дверью.

* * *

...Осень перед наступлением зимних холодов сделала глубокий вдох, как пловец перед прыжком в воду. Стекляшками звенел на лужах тонкий резной ледок, и длинные округлые пузыри воздуха под ним лопались с тихим треском, а листва на деревьях, желтая, хрустящая, слабая, освещенная близоруким мягким солнцем, казалась ненастоящей. Тени на тротуар ложились неглубокие, размытым дрожащим силуэтом, как в окуляре неотфокусированного бинокля. И воздух – синий, холодный, свежий, кипящий в крови нарзановыми капельками.

От Красных ворот я прошел вниз по Басманной, и здесь листья на деревьях тоже висели сгустками застывшей смальты, а дымки из выхлопных труб проносившихся машин скручивались маленькими синими смерчами, замирали в воздухе неподвижно и в следующее мгновение бесследно исчезали...

Около храма Петра и Павла была небольшая столовая, а времени у меня оставалось предостаточно, и я решил там позавтракать. В столовой – бывшей монастырской трапезной, мрачном сводчатом зале, – народу было много, и я подсел к двум пенсионерам, не спеша вкушавшим капустные котлеты, которые они запивали кефиром. Один из них сердито говорил другому:

– Мудрят всё!.. Вон вчера в газете написали, что умники какие-то воду варили до тех пор, пока не получилась вода, да совсем на воду не похожая – клейкая, тягучая, на морозе не замерзает, и вкус кислый. Вот ты мне и скажи – на кой она нужна мне, вода такая, чтоб ни напиться, ни умыться! Глупости одни да деньгам народным сплошной перевод...

Я доел свою яичницу, вышел на улицу и направился к Разгуляю, и все думал, что хорошо бы посмотреть на воду, которая хоть и вода, да не мерзнет на морозе, тянется, клейкая, а на вкус кислая.

...За окном приемного покоя желтел неподвижно сад, прозрачный туман голубел в дальнем конце, у высокого дощатого забора, обтянутого поверху колючей проволокой в несколько рядов. Как в тюрьме. И тишина этого ясного осеннего утра, светлая и чистая, так не вязалась с невеселой колючей проволокой и тихими бледными людьми, бесшумно сновавшими по дорожкам сада в серых мышинных халатах. И жуткий, захлебывающийся, поднимающийся до тонкого пронзительного визга и вновь падающий в звериную тоску вопль за стеклянной дверью. Иногда сквозь этот рев отравленного животного доносилось тонкое рыдающее причитание: «Доктор, миленькая моя, дорогая, спасите, родная, не буду никогда... а-а-а!!!» И снова дикий, нечеловеческий крик. Потом стихло...

Доктор Константинова вышла в приемную и смотрела на меня несколько минут, будто вспоминая, кто я такой, зачем я здесь и что я тут делаю. Потом достала из кармана халата пачку сигарет, закурила, и я видел, как прыгала сигарета у нее в руках. Тонкие губы кривились

болезненной гримасой, взмахом руки она откинула со лба прядь пепельных волос, и когда она затягивалась, кожа обтягивала ее выпуклые, красиво очерченные скулы.

– Ну как, нравится? – спросила она, будто мы прервали разговор только для того, чтобы она закурила. И добавила, уже не обращаясь ко мне: – Сволочь, скотина несчастная. Сколько я на него сил положила!..

Этого парня привезли при мне. Его вкатили на каталке, и лицо у него было запрокинуто, землисто-черное, отекавшее, и единственно живыми на лице были глаза – налитые кровью и слезами, они струились нечеловеческим страданием. Белая липкая пена, как у загнанной лошади, падала у него с губ, конвульсивные судороги сводили тело. И он страшно кричал, хрипло, обессиленно. Константинова, забыв обо всем, скомандовала:

– Приготовить реанимационную бригаду... Кордиамин внутримышечно, пантопон... Антигистамин... Кислотные нейтрализаторы... Общее промывание с марганцовкой... Подготовьте переливание крови...

Полтора часа я стоял в приемном покое и рассматривал засыпающий осенний сад, обнесенный колючей проволокой в несколько рядов, и тихих больных в сереньких халатиках, снующих по дорожкам. Больница, где пациенты не вызывают жалости, где страдание принесено не несчастьем, а собственным свинством. Где лечиться заставляют принудительно...

– ...Сколько я на него сил положила! – сказала снова Константинова. – Двадцать пять ему, шесть лет он уже алкоголик, ребенок родился дегенерат, жена от него ушла. Семь месяцев я его лечила комплексным методом, выходил отсюда совершенно здоровым человеком. И вот пожалуйста – что мне привезли, вы видели...

– А почему его так корчило? – спросил я.

Она сердито посмотрела на меня:

– Вы что думаете – я их мятными конфетами тут лечу? Для восстановления утраченных функций организма алкоголика применяются сильнейшие химические препараты, которые служат и барьером несовместимости против всех видов спиртов. А он сегодня стакан водки выпил.

– И что теперь будет?

– Не знаю. Может умереть...

Она закурила еще одну сигарету и сказала:

– Господи, обидно-то как! У нас закрытое лечебное учреждение, а я бы лучше сюда водила людей на экскурсии, как в кунсткамеру. Может, кого-нибудь хотя бы остановила. Ведь проходят люди по улице мимо – ну, больница как больница, и всё, а ведь кто здесь не был, и представить себе не может, сколько здесь горя нечеловеческого, слез и страданий! Восьмой круг ада – и только!

– А что сделать? – спросил я.

– Да что вы меня спрашиваете? Я же врач, а не социолог, хотя и этому подучиваешься помаленьку на нашей работе. Нет формы зла, которая бы не проложила через нашу больницу своего маршрута. Семьи разваливаются – к нам имеет отношение, дети больные рождаются – и это у нас на учете, травмы, увечья на работе – пожалуйста, я вам и об этом справочку дам, ну а кто по пьянке попадает не к нам, а к вам – это вы лучше меня знаете...

Она помолчала, потом сказала:

– Ладно, чего уж там, вы этого тоже не решите. Вас интересует Обольников?

– Да, я бы хотел, чтобы вы мне о нем рассказали поподробнее.

Константинова вытащила из шкафа папку с надписью «История болезни», и я заметил, что папка толстая, обтертая, старая.

– Он у нас второй раз лежит, – сказала Константинова. – Был рецидив год назад, но без серьезных осложнений, пил не слишком... На этот раз явился для лечения сам, с направлением райпсихиатра. Говорит, что хочет полностью излечиться.

– А ваши пациенты часто сами являются?

– К сожалению, они нас не радуют такой сознательностью, как Обольников.

– Я хотел бы с ним поговорить.

– Пожалуйста. Он сейчас на прогулке в саду. Пригласить его сюда или поговорите на воздухе?

– Давайте лучше на воздухе. Уравняем шансы, – усмехнулся я. – А то в этих стенах Обольников чувствует себя привычнее и увереннее, чем я.

Сергей Семенович Обольников гулял по дорожкам, задумчивый и меланхоличный, как Гамлет. Засунув руки за веревочный пояс теплого байкового халата, в кедах и вязаной женской шапочке, он не спеша вышагивал по утрамбованной красным толченым кирпичом тропке, снисходительно поглядывал на дерущихся из-за корок воробьев, и я слышал, как он сказал им осуждающе-снисходительно:

– Эть, птица, какая ты паскудная...

Он обернулся на наши шаги, вынул руки из-за пояса-веревки, стал «смирно», чем удивил меня немало, и сказал очень серьезно:

– Доброго вам здоровья, Галина Владимировна, желаю. И вы, товарищ, тоже здравствуйте.

Константинова усмехнулась, зло она усмехнулась, и сказала:

– Здравствуйтесь, Обольников. Часть бы вашей вежливости да в семью переадресовать – цены бы вам не было.

Обольников серьезно кивнул:

– Семья недаром очагом зовется. Там ведь и добро и зло – все вместе перегорит и золой, прахом выйдет, а тепло все одно останется. Люди промеж себя плохо еще потому живут, что уважению друг другу заслуженную оказать не хотят. Вежливость – она что? – слова, звук, воздуха одно колебание, а все-таки всем приятно.

– Вам бы, Обольников, такую рассудительность в смысле выпивки, – мечтательно сказала Константинова. – А то водочка всю вашу прелестную философию подмачивает.

– Водочку не употребляю, – гордо сказал Обольников. – Я «красноту», портвейн, уважал до того, как под «автобус» попал. – И засмеялся, залился тонко, сипло заперхал.

– Это они так лекарство антабус называют, – пояснила мне Константинова. – Шуточки ваши, Обольников, на слезах родных замешены. Им-то не до смеха...

Он успокаивающе протянул к ней руки:

– Да вы, Галина Владимировна, не тужитесь за них. Ничего, дело семейное, а жизнь – штука долгая, не одни пряники да вафлики, и горя через отца немного на укрепу дому идет. – И смотрел на нее он своими блекло-голубыми, водянистыми глазами ласково, спокойно, добро.

– Какие же это они от вас пряники в жизни видели? – спросила Константинова.

Обольников горестно развел руками:

– Даже странно мне слышать такие вопросы от вас, Галина Владимировна, как я знаю вас женщиной очень умной и начитанной. А кормил-то их кто, одежду покупал, образованию кто им дал? Пушкин? Тридцать лет баранку открутить – это вам не фунт изюму!

Константинова сложила руки на груди, и костяшки пальцев побелели.

– А то, что дочка ваша до пяти лет не говорила, – это фунт? И до сих пор состоит на учете в психоневрологическом диспансере – это фунт? А сын убежал в пятнадцать лет из дому, с милицией его разыскивали – это фунт? А жена ваша – инвалид – это фунт? А когда мальчик ваш принес домой деньги, ребятами собранные на подарок учительнице, а вы их нашли и пропили, и парень бросил из-за этого школу – это как, фунт изюму?!

Обольников натянул свою нелепую шапку до бровей, посмотрел на врача, и глаза у него были хоть и водянистые, но не ласковые и не спокойные. Вода в них была стылая, тягучая и кислая от ненависти.

– Так я ведь не ученый там педагог какой, воспитывал, растил, как умел, последнее отдавал, все силушки из себя вытянул. Вы мне вот, Галина Владимировна, обещали душ Шарко назначить, так вы скажите, а то няньки без вашего-то слова не дают. А мне он очень полезный, в ослабленном моем состоянии здоровья все жилочки оживляет, кровь мою усталую сильнее гонит...

Константинова долго смотрела на него, вздохнула, сказала:

– Я скажу насчет душа. А этот товарищ с вами хочет поговорить. Он из уголовного розыска.

Обольников повернулся ко мне мгновенно, будто его развернули на шарнире, и сказал снова ласково и добро:

– С большим моим удовольствием побеседую с вами, гражданин начальник. Галина Владимировна ведь без сердца на меня говорит, она ведь переживает за меня...

Константинова сморщилась, как от зубной боли, и, пробормотав: «Эх, Обольников, Обольников...», пошла к лечебному корпусу.

Глядя ей вслед, Обольников сказал грустно:

– Хороший человек Галина Владимировна и врач душевный. Но горяча, ух горяча без меры! Попадись ей некстати, и напраслину наговорит, не подумав. А потом ведь и сама жалеть будет.

– А она что, неправду про вас сказала?

Обольников сдвинул вязаный чепец на затылок, вновь засунул руки за веревочную перевязь.

– Так что правда? Правда не рупь, она по виду, может, и монета чистая, а на самом деле – сплошная фальша. И на зуб ее не возьмешь. Семейство я свое люблю, а недуг меня, как кобеля бездомного, все на помойку тянет. Так что уж мне самому тяжело, ну и им претерпеть маленько придется. Да и немного-то осталось...

– Это почему? – поинтересовался я.

– А вот подлечуся я здесь, выйду, до пенсии мне работать совсем чуть. А там, глядишь, к пенсии-то моей трудовой, кровной, заработанной и детишки кое-чего подбросят. Они мне подбросят. Они меня любят, уважают меня. Чего им меня не любить? Это только Галина Владимировна расписала так, будто и есть я распоследний кровопиец. Сгоряча, конечно, да-да... Ну а как неблагодарные поросятки окажутся они, детишки мои, Аня-то с Геной, так ведь и закон есть, чтобы престарелым старичкам своим помочь по немощи их трудовой. Закон у нас старого человека бережет...

И хотя стоял он прямо, засунув за пояс-веревку ладони с посиневшими ногтями, а голову в шапке-вязанке закинул вверх, вроде присматривался ко мне пристальнее – понимаю я его правоту или нет, – вид у него все равно был как у серого жука-носорога, которого перевернули палочкой на спину, и лежит он себе и судорожно сучит клешневыми лапками – отбивается от всех обидчиков, плохих людей, наговорщиков и захватчиков его прав, законом обеспеченных и оговоренных. Лицо у него было худое, длинное, и нос, волнистый, длинный, воинственно торчал вперед, как у реликтовой рыбы на красных консервных баночках «Севрюга в томате».

– Так вы не смущайтесь, вы меня спрашивайте, если нужда вас какая ко мне привела, – сказал он мне. – Я ведь всегда готов помочь любому человеку, если на то есть только возможность. Эх, сколько людей добротой моей безвозвратно попользовались!..

Он вздохнул сокрушенно, утомленный человеческой неблагодарностью и бездушием. Я недобро усмехнулся:

– Вот я как раз из-за доброты вашей и пришел сюда. Вы ключики от квартиры Полякова передавали кому-нибудь? По доброте душевной, на время попользоваться?

Обольников смотрел на меня внимательно, и ничто в его лице не дрогнуло, будто он не понял меня или был готов к этому вопросу. Нос только вытянулся еще больше, и глаза стали такими же, какими он давеча смотрел на Константинову.

– Это мне как же надо понимать ваши слова, гражданин хороший? – спросил он медленно, и я уловил, что в его сиплом, чуть гнусавом голосе появились звенящие стальные ноты. Он уже не отмахивался клешневыми лапками – он занял атакующую боевую стойку. Хрящеватый тонкий нос побелел у ноздрей, и на мгновение мне показалось, будто это и не нос никакой, а острый – копьем – клюв: тукнет раз – и разлетится голова тонкими яичными скорлупками.

– Вот как спросил, так и понимать – буквально! Вы кому-нибудь ключи от квартиры Полякова давали? – спросил я холодно и, еще не закончив фразы, увидел, как боксер, не успевший вернуться в стойку, что Обольников ринулся в атаку.

– А вы думаете, что сунули мне в нос свою книжечку красную – и любое беззаконие вам дозволено? Ну это уж вы погодьте! Являетесь в лечебницу к человеку больному, которому и жить-то неизвестно сколько осталось, и начинаете фигурировать правами своими, допросы мне оскорбительные учинять?

В этот момент я понял, что Обольников имеет какое-то отношение ко всей этой истории. Существуют строго определенные закономерности разговора дознавателя и допрашиваемого, и Обольников их сразу нарушил. Не дождавшись очередных моих вопросов, он высказал возмущение по поводу факта, который мы еще не обсуждали, и он не мог быть ему известен. И от этого я сразу успокоился. Я сел на скамейку и сказал ему:

– Ну-ну! Я вас слушаю дальше...

Обольников прижал руки к лицу и горестным шепотом сказал:

– Вы сами-то понимаете, что вам сделают на службе, когда узнают, что вы здесь с больным человеком вытвораете?

Я посмотрел на часы:

– Слушайте меня, Обольников, внимательно. Сейчас половина первого. В два часа я должен быть на работе. Время для ваших двухкопеечных фокусов исчерпано. Поэтому давайте сразу условимся: или вы будете со мной говорить как серьезный человек, или я вас заберу с собой и водворю в камеру предварительного заключения. Душа Шарко не обещаю, а вся антиалкогольная терапия будет обеспечена.

– Меня-я? – спросил он с придыханием. – Больного человека?

Я уселся на скамейке поудобнее.

– Ну а кого же еще? Конечно вас. Вы, на мой взгляд, жертва гуманизма и повышенной терпимости нашего общества. Я подчеркиваю, что это только моя личная точка зрения, но вместо этого прелестного осеннего парка я бы вывел вас на лесоповал, а душ Шарко заменил земляными работами.

– То есть как это? – спросил он с испугом.

– А так. Вы хотите, чтобы вас считали больным, несчастным человеком. Чтобы в силу нравственных норм нашего общества вам помогали, тратили на вас время, средства, человеческие усилия. Алкоголик – что? Подумаешь, выпивал, выпивал человек, а теперь стал негоден ни к чертям собачьим. Пусть уж государство позаботится о нем. А с моей точки зрения, всем своим существованием вы уже много лет отравляете жизнь людям вокруг вас – и родные ваши несчастны, и на работе не знают, как избавиться от вас. Поэтому вы свои штучки со мной бросьте, а то я с вами по-другому поговорю...

Он грустно покачал головой, и нос его описал фигуру замысловатую, как скрипичный ключ.

– Вот и верь тому, что в газетах пишут – «новая милиция стала», – сказал он. – Форму-то вам, видать, новую дали, а замашки старые остались.

– А вы бы хотели, чтобы я новым мундиром за вами блевотину пьяную подтирал и еще стаканчик на блюдечке подносил? Не знаю уж, я не врач, – больной вы человек или здоровый, но в обществе нашем вы – явление болезненное. Тем не менее общественные порядки и на вас распространяются. Они ведь существуют не только для тех, кто в алкоголических клиниках пребывает, – тут у вас, между прочим, не центр мироздания.

– Ладно, пануйте, издевайтесь над больным человеком, коли говорите, что власть вам на это дана, – сказал он с горестным смирением. – Я человек маленький, трудовой, в начальство не вышел, так надо мной чего угодно вытворять можно. А если от трудов своих, усталости сил и принимал лишнюю рюмку, так я у вас как детей убийца Неосисян...

– А я и не говорю, что вы убийца Ионесян. Я вас спрашиваю: вы зачем у жены брали ключи от квартиры Полякова?

– А вы видели, что я брал? – спросил он, уперев руки в боки и очертя голову бросаясь в волны испуганной запальчивости. – Видели, как я ключи эти брал? Вы еще докажите, что я брал...

– Докажу. Но я хочу с вами решить этот вопрос по-хорошему. В квартире у Полякова совершена крупная кража. Вы об этом знаете?

– Нет, нет, нет, – повторил он быстро. – Ничего я не знаю про это... Не знаю я ни про какую кражу. Не был я даже дома... Здесь я... в больнице лежал... Не знаю я ничего...

И я увидел, что он очень сильно, по-настоящему испугался. Это не было взволнованным напряжением, которое он испытывал с самого начала нашего разговора, это был настоящий испуг, который ударил под ложечку и тяжелой, леденящей волной поднялся к горлу, залил его щеки графитной серостью. Я окончательно уверился, что ключи побывали у него в руках.

– Я знаю, что вас не было в эту ночь дома. Поэтому я хочу узнать, кому вы давали ключи. Он заговорил быстро, давась словами, заглатывая конец фраз:

– Не видел ключей... Не знаю... Говорил жене, чтобы не ходила туда... Они себе сами там пускай живут... Мы простые... Нам не надо... Они там на скрипке пофыркают – тысячу рублей на тебе... А мне ничего не надо... Пропадет чего – конечно, на меня скажут... Мне бы чекушку-то всего – и все в порядке... и порядок... и порядок... А мне до всех этих симфониев – как до лампочки... И не видел я ключей этих сроду...

– Слушайте, Обольников, перестаньте дурака валять. Мне Поляков говорил, что на прошлой неделе вашей жены дома не было, так вы ему сами ключи отдавали.

– Они, Лев Осипович-то, человек большой умственности, рассеянный он. Перепутал он, жена ему отдавала. А он-то с представления возвращается, все в мозгах у него там еще кружение происходит – напутал он от этого, жена ему отдавала ключики, ужинал я сам, а она отдавала ключики с колесиком...

– При всей его рассеянности вряд ли перепутал Поляков вас с Евдокией Петровной. Но допустим. А ключи с колесиком, значит, вы все-таки видели?

– Ну пускай видел. И чего? И чего с того, что видел? А брать мне их ни к чему! Что я у него, пианинов не видел?

– А вы в квартире у Полякова бывали? – спросил я не спеша.

– Там без меня гостей хватало. И как на скрипке играть – он без моих советов обходился. Я посидел, помолчал, потом сказал:

– Неправду вы мне говорите, Обольников. Бывали в квартире у Полякова. Прошлой весной бывали...

– Конечно, пьяного человека обвиновать, как два пальца оплевать, – то-то вы про меня больше меня самого знаете. Может, и заходил по хмельному делу, да не помню, а вы мне всё теперь в стробу.

– У вас, Обольников, пьянка как палочка-выручалочка: на все случаи жизни оправдание – не помню, не виноват, не мог, не знаю. А вот жена Полякова, Надежда Александровна, –

так она вообще не пьет, может, поэтому память у нее лучше. Весной вы антресоли им сбивали для книг. И помнит она, что вы вместе с ней по всей квартире ходили – место для антресолей выбирали. Не припоминаете?

– Может, и так было. Память у меня от болезни слабая стала.

– Ну ладно, оставим это пока. У меня к вам вот какой вопрос: будь у вас их ключи, вы сумели бы по ним сделать дубликаты?

Обольников испуганно попятился от меня, замахал руками:

– Зачем мне это? Конечно не сумел. Не делал я ничего такого никогда.

– Так вы же раньше, до работы в такси, были слесарем-лекальщиком? Неужто такой пустяковой работы сделать не смогли бы? Это даже я, наверное, смастерил бы после некоторой тренировки...

– Вот вы и тренируйтесь! А я не пробовал и не собираюсь! Ни к чему мне это совсем...

Я достал из кармана ключ от английского замка, обычный никелированный ключ, уже облезший кое-где, и в этих местах проступали рыжие медные пятна, ключ как ключ, на зеленой шелковой тесемочке с растрепавшейся в бахрому нитью на месте завязки в узелок. И показал его Обольникову:

– Вам этот ключ знаком?

Он заерзал, задергал носом, и взгляд его пилил ключ, как драчовый напильник.

– Ключ как ключ, – сказал он, дернув плечом. – Все они одинаковые.

– Не думаю, – сказал я. – Все ключи разные. Просто разными ключами можно иногда открывать одни и те же замки. Так что, не узнаете ключ?

– Нет, – мотнул он головой.

– Да, с памятью у вас совсем неважно. Этот ключ мы изъяли сегодня у вашей дочери Анны Сергеевны Медведевой. Она пояснила, что это ключ от вашей, Сергей Семенович, квартиры, изготовленный по ее просьбе вами после того, как она вышла замуж и переехала на квартиру своего мужа.

– А-а-а... Мм... – замычал он.

Я опередил его:

– И не вздумайте мне рассказывать сказки о том, что вы, как добрый, любящий папа, побежали в мастерскую металлоремонта и заказали ключ. Понятно?

– Это еще почему? – спросил он затравленно.

– Потому что на допросе Медведева показала: болванку ключа она купила в палатке на Палашевском рынке, принесла ее домой, и вы, достав инструменты, сделали ключ за десять минут, забрали у дочери сорок копеек и две пустые бутылки, ушли из дому, а вернулись уже сильно пьяным. Итак, можем считать, что вы забыли о своем умении в течение десяти минут сделать дубликат ключа. Сойдемся на этом?

Обольников молча кивнул.

– Тогда что вы мне можете сообщить о ключах от квартиры Полякова?

– Ничего. Не был я там. Не воровал я ничего.

– Я тоже думаю, что вы – лично вы – ничего там не воровали.

– Чего же вы от меня хотите?! – в голос завопил он. – Все против меня – жена, змеюка подлая, уголовку на меня наводит, доченька, кровь родимая, пропади она пропадом, вором меня выставляет! Почему не верите? Чего хотите?

– Чтобы вы рассказали правду. На все мои вопросы вы даете лживые ответы, опровергаете общеизвестные факты – как я вам могу верить?

– И не скажу ничего – вы, чтобы в тюрьму посадить, доказать еще должны, что я украл. И сажайте – мне что здесь за проволокой, что в лесу на повале!

– И это врете. Вы хорошо знаете, что в тюрьме усиленного питания и душа Шарко не дадут...

Тогда он заплакал, всерьез или нарочно – не знаю, но слезы у него были обычная вода, мутная, бегучая, и капля повисла на длинном, остром, как у севрюги, носу.

Когда я вошел в кабинет, Лаврова говорила лохматому человеку в телогрейке:

– Подпишите вот здесь, здесь... и здесь...

В левой руке человек держал замасленную танкистскую фуражку, прижимая ее к груди нежно, но твердо, как гусарский кивер. Правой рукой щепотью он ухватил ручку и водил ею по бумаге осторожно, с явной опаской, будто царапал старую, выкопанную из земли гранату.

– Станислав Палыч, это слесарь из ЖЭКа, Силкин, – сказала Лаврова. – Он говорит, что в квартире Полякова не бывал.

Слесарь Силкин положил ручку на место, поднял на меня глаза и сказал:

– Как есть, точно вам доложили – не бывал я в пятнадцатой квартире. И конечное дело, как следствие – замков чинить там не мог. Да и на кой мне замки их – у меня сейчас совмещение в бойлерной, в доме семь, да в гастрономе у меня полставки. А тут тетка женина дом нам передать хочет – а на кой мне дом этот, когда в нем ремонту на больше денег будет, чем новый ставить, один смысл – участок там ничего себе, хоть коз пускай на выпас...

– А как же так получилось, что вы ни разу в пятнадцатой квартире не бывали? – спросил я.

– Так я всего три месяца как работаю тут, на участке. И не знаю их поэтому. Да вы, пожалуйста, не сомневайтесь – вы хоть их самих, хозяев, спросите, они меня ни в жисть на личность не опознают...

Я посмотрел на Лаврову, она отрицательно покачала головой:

– Поляковы по фотографии не опознали его. Категорически утверждают, что не тот.

– Ну и отлично, товарищ Силкин. Давайте ваш пропуск, а то в бойлерной вода остынет, пока мы тут попусту толкуем. И заодно в гастрономе узнайте, может, для меня полставки найдется. Мне до полочки каждый раз полставки не хватает...

Силкин серьезно спросил:

– А вы по слесарному делу как... того?

– Нет, к сожалению, не того, – засмеялся я. – Но я потренируюсь, а там, глядишь, тетка дом мне с участком откажет. Вот только жены у меня нет...

– Это дело наживное, – покровительственно сказал он. – Я тоже...

– Я тоже, – перебил я, – хотел спросить вас: книга заявочного ремонта и явки на работу ведется?

Он обескураженно посмотрел на меня:

– Имеется книга такая. А что?

– Слесарь приходил к Полякову чинить водопровод, а заодно уж и замки, шестнадцатого октября. Вы чем занимались в этот день? Ну-ка, припомните, пожалуйста.

Силкин надел зачем-то свою замечательную фуражку, нахлобучил ее поглубже, и треснутый козырек заходил от напряженного движения морщин на лбу.

– Шестнадцатого? Так... шестнадцатого... шестнадцатого. А простите, день какой это будет – шестнадцатое?

– Вторник, – сказала Лаврова.

– Вторник? – удивился Силкин так, будто вторник приходился на тридцать третье октября. – Вторник? Шестнадцатого – во вторник?

– Да, шестнадцатого, во вторник, – терпеливо повторила Лаврова.

– Сейчас, сейчас, сейчас вспомню, чего там было шестнадцатого во вторник, – мучил несильную память слесарь. Наконец лицо его озарилось радостью откровения. – Вспомнил – вторник, шестнадцатого! Как же это я забыл-то!

– И что? – спросила Лаврова.

– Ничего не делал, – с большим облегчением сообщил Силкин. – На больничном я был еще, бюллетень у меня был. Я как раз письмо от тетки получил, хотел в деревню в субботу ехать, да отработать пришлось в две смены, сменщику с пятницы отгулы дали, а я как раз вышел в первый день – пятница была...

Мы посидели с Лавровой некоторое время молча, потом она сказала:

– Я думаю, что надо съездить в деревню, допросить тетку, и, если все подтвердится, эту линию разработки закрыть. Тут ничего не светит.

– Да, просто щелей не надо оставлять. А что с телеграммой?

– Ничего. Телеграмма отправлена из двести сорок пятого отделения связи, и девушка-телеграфистка запомнила, что этот Таратута – человек средних лет, особых примет не заметила. Опознать его с уверенностью не берется.

– А где находится это отделение?

– На Беговой, против магазина тканей, – сказала Лаврова, посмотрела на меня и спросила: – Вы чего усмехаетесь?..

– Да-а, ерунда. Просто подумал о том, как избирательны ассоциации у разных людей. Если нужен ориентир, женщина скажет – против магазина «Ткани», пожилой человек – рядом с Боткинской больницей, мальчишка – наискось от стадиона Юных пионеров. Ну а человек, одолеваемый страстями, – что он скажет?

Лаврова засмеялась:

– Наверное, скажет – рядом с ипподромом.

– Вот именно. Ну это я так, к слову. Что будем делать с троллейбусным билетом, обнаруженным в прихожей Полякова? Поколдуем с ним чего-нибудь? Как говорит наш шеф, идеи есть?

Лаврова пожала плечами:

– Мои соображения рядом с вашими всегда так незначительны, что не заслуживают права называться идеями. Так, мыслишки пустяковые...

– В борьбе это называется «двойной нельсон», – сказал я, ухмыляясь, – ручки за голову заворачивают и тебя же за шею душат.

– Вас подушишь, пожалуй. Лучше всего из вас было бы сделать циркулярную пилу. А что касается билета, я попробую выяснить о нем все возможное...

– Изумительно. Давайте помозгуем вместе насчет выяснения круга знакомых Полякова. Мне не очень ясно, как мы будем разбираться с такой массой людей.

Лаврова сказала:

– Если мы их будем прорабатывать каждого по очереди, нам до второго пришествия не кончить. Надо их по группам разбить.

– Не понял?

– Надо разделить этих людей по какому-то групповому признаку: личные друзья, коллеги по Консерватории, студенты-ученики и так далее...

– А что? Это мысль. Не просто мысль, а целая идея!

Лаврова взглянула, чуть прищурившись:

– Слава богу, вот и я дожила до признания!..

Глава 4

Свои минотавры

– Я попробую? – спросил Антонио.

– Попробуй, – усмехнулся Амати.

В вопросе Антонио – надежда на помощь, поддержку, совет. Но мастер Николо только усмехается, хитрость таится в толстых складках его багрового лица, белый хохолок издевательским крючком-вопросом торчит на макушке.

Плеснуло пламя голубыми языками под бронзовым дном ковша, пузырится, булькает, растекается янтарь мастики, и от острого запаха, аромата фисташкового дерева, с которого стекает она тяжелыми каплями, вязкими и горькими, как пот и слезы, першит в горле, и по щекам текут капли, падают в котел, смешиваясь со смолой. В реторте рядом закипает сандарак – серый грязный дым встал отвесно над сосудом. Бежит, бежит, завихряясь струей, песок океанский в колбе часов. В нижней стекляшке уже вырос холмик, и кажется, будто это время движется вспять, выбрасывая наверх белую струю песка.

Антонио натягивает кожаные рукавицы, хватая клещами раскаленную реторту и начинает быстро болтать ее – кругами, кругами, круг становится уже, быстрее, быстрее, осадок сел на дно – теперь еще быстрее! Он рывком скидывает крышку с ковша, из бронзового чрева ударил рвущий ноздри чистый яростный аромат мастики. Плюх! Плеск! Коричневой волной пошел сандарак через мастику, плавными уступами расписал желтую толщу ее, завихрились причудливые фигуры в глубине, и смола стала поглощать цвет, густеть, успокаиваться.

– Терпентин! Терпентин давай! – заорал над ухом Амати. – Да быстрее же! Боже, какой идиот, остынет ведь, загустеет, пропадет! Огня добавь! Огня!

Антонио изо всех сил раскачивает рычаг ножного горна, пламя хрипит и срывается с углей красными злыми лентами, трясущимися пальцами развязывает Антонио мешочек с терпентином, завязка затянута, не отпускает, зубами молодыми, злющими, с хрустом рвет он ткань, сыплет в колдовское варево прозрачные до голубизны кристаллы, а в голове пасхальным колоколом бьется, кричит, ликует – я делаю правильно! Пра-а-а-вильно!

Тают кристаллы, желтеют, тонут, и снова бурлит, бушует в ковше смола, черные сгустки с пеной идут наверх, клубочки дыма ядовитого стелются над булькающей рябью. Серебряной лопаткой, перуанской, резной, узорной, с захватом и сеточкой, подхватывает Антонио пену и накипь, сбрасывает на глиняный пол и смотрит на часы песочные – а там уже снова крупинками время пересыпается, течет, падает в пропасть ушедшего навсегда. Антонио оглядывается: мастер Николо сидит на столе, прижав к сердцу руки, и на лице его – страдание.

– Пора? – спрашивает Антонио и удивляется голосу своему – сиплому, тонкому, петушиному.

Амати кивает молча, и Страдивари наливает в колбу семь гран масла розы пендераклийской, спирт, из тростника сахарного выгнанный, вытяжку из дерева красного сафируса опускает в стеклянный сосуд, взбалтывает и оборачивается вновь к учителю. Амати молчит.

– Господи и ты, святая всепрощающая заступница наша, Дева Мария, благословите! – выкрикивает Страдивари и крестится перед почерневшим распятием на стене мастерской.

Он опускает колбу в тигель, и стекло сначала тускнеет, потом начинает наливать вишневым краснотой. Антонио подхватывает колбу за узкое горло и осторожно переливает раствор в ковш на горне-бурбарте. Золотистая пленка, как волшебная амальгама, заливает поверхность смолы, она проседает вглубь, постепенно окрашивая все содержимое ковша этим призрачным мерцающим светом.

Антонио легко, рывком хватая трехпудовый ковш – стенки его толщиной в пядь – и бежит с ним в угол, плавно, ласково опускает ковш в дубовую бадью с холодной хвойной водой,

и лицо его скрывается в клубках ватного фиолетового пара. Шипит вода в бадье, стынет медленно ковш, улетает в окна обессиленный пар, глохнет в горне огонь, синие искры беззвучно прыгают на углях в тигле. Тихо. Совсем тихо становится в мастерской.

Антонио осторожно вынимает ковш из воды, медленно несет к верстаку. Отчетливо звякают об пол капли, срываясь с округлого брюха ковша. Ковш установлен на верстак, и Антонио ощущает тонкий, пронзительный звон уходящего напряжения в каждой клеточке своих обожженных, изъеденных растворителями, изрезанных усталых рук...

Долго молчали оба, затем старый Николо сказал:

– Не медлит Господь исполнением обетования... Но испытует долготерпение наше... – И снова замолчал.

Антонио поднял голову и спросил тихо:

– Мастер, это и есть заветный лак?

Николо молчал, и Антонио показалось, что учитель не знает, как ответить ему.

– Тебе сколько лет сейчас, мальчик? – спросил Амати.

– Двадцать один.

– Я такой лак сварил впервые, когда мне было сорок три. Но это не тот лак. Он только может сохранить скрипку навеки и подарить ей необычайную красоту. Настоящий лак заставит ее неповторимо звучать. Этот не может.

В мастерской снова стало очень тихо, и шорохом камешков в воде прозвучали слова Антонио:

– Как же это так?..

Глазки Амати совсем исчезли в жирных складках-щелочках.

– Я знаю еще две добавки. Ты их должен найти сам. Тогда, может быть, ты еще найдешь и какие-то другие, которых я не знаю. И тогда свои скрипки ты сделаешь лучше, чем я...

– Но...

– Никаких «но». Ты можешь стать гением, если захочешь, конечно. И мешать тебе я не намерен... Запомни только, что гения всегда ждут на пути, как дорожные грабители, три врага...

– Кто они? – безразлично спросил Антонио.

– Праздность, богатство и слава. Как сирены, подстерегают они гения, и всякий раз набрасываются на главную его добродетель – трудолюбие.

– Но ведь вы, учитель, богаты и прославлены? – сердито спросил Страдивари.

Амати встал, вытер шелковым платком лицо, грустно усмехнулся:

– Эти сирены особенно обольстительны в юности. Ко мне они пришли слишком поздно...

* * *

«Расследовать дело в этом направлении, по-моему, бессмысленно, поскольку мы все – студенты и аспиранты Л. О. Полякова – просто обожаем его...»

Я положил ручку и посмотрел на Марину Колесникову внимательно. Она усмехнулась:

– Я понимаю, что в протоколе такие слова вам кажутся смешными. Но вы меня предупредили, чтобы я говорила только правду. А это правда – мы его обожаем...

– И вы исключаете вероятность причастности кого-либо из его студентов к преступлению? – спросил я осторожно.

– Категорически...

На листе бумаги Лаврова нарисовала маленький кружок, внутри которого написала: «Поляков». Из кружка исходили, пружинисто разворачиваясь, четыре спиральных кривых: линия родственников и близких друзей, линия коллег и учеников, затем линия людей, которые когда-то были близки Полякову, но сейчас утратили или ослабили с ним связи, и, нако-

нец, линия людей, к чисто хозяйственным услугам которых прибегала семья скрипача. На первой кривой было одиннадцать точек. На второй – шестьдесят три. На третьей было сейчас тридцать две, но цифра эта по мере развития розыска все время возрастала. На четвертой – семнадцать. Получилась этакая четыреххвостая комета, уродливое пространственное зеркало человеческой коммуникабельности, где каждая людская связь была только точкой, и по мере того как папка уголовного дела заполнялась допросами, справками и объяснениями, эти точки набухали, росли, обретали объем, как надуваемый аэростат, и наполнялись они любовью и вероломством, поклонением и завистью, верностью и грустью, смешным и тягостным, всем тем, что постепенно заполняет жизнь людей, и гениев тоже – потому что гении становятся монументальными только после смерти, а при жизни радуются и огорчаются всему тому же, что и мы, грешные. Просто масштаб смещен...

Аспирантка Марина Колесникова из класса профессора Полякова в нашем списке шла двадцать седьмой во второй линии. Красивая белокожая девушка, неспешная в движениях, ленивая в словах, а глаза – карие, веселые, и вообще ее было очень много, она заполняла и освещала мой кабинет всей своей плавной округлостью, подсолнечными волосами, небрежно затянутыми в тяжелый пучок, она источала тепло белизны кожи и ласковостью длинных сильных пальцев. Не девушка, а прямо душевное утешение. И выражалась она очень интеллигентно, и от этого хотелось поговорить с ней о чем-нибудь неслужебном, к делу не относящемся, просто так, как говорится, о цветах и пряниках. Ее просто невозможно было представить серьезным человеком, занятым трудным искусством, если бы не коричневая с краснотой мучительная мозоль под левой скулой на сливочно-нежной шее.

– Категорически, – сказала она. – Наше отношение ко Льву Осиповичу, наше обожание – не экстатический восторг девчонок-меломанок. Это закономерный результат многолетнего общения с ним.

– То есть?

– Вы помните миф о том, как Тезей спустился в лабиринт Минотавра?

– Да, мы это еще в школе проходили, – усмехнулся я.

– Вот если переложить этот миф в музыкальную композицию, то по смыслу она состояла бы из трех частей – аллегро, модерато, престо, отражая смысловое триединство подвига Тезея: он отправился в неведомое – вошел в лабиринт, откуда никто до него не возвратился; затем вступил в бой с чудовищем Минотавром и победил его, и третье, что определяет смысл его поступка: он спас жизнь и красоту тех, кого отдавали Минотавру. Вот наш худенький Лев Осипович часто представляется мне Тезеем в лабиринте...

Я прикрыл ладонью глаза и вообще сделал вид, что усиленно тру лоб, – чтобы она не заметила, как мне смешно.

– Но у Тезея, помните, был этаким сыскной атрибут – ниточка? Ниточка. Которую ему дала эта дама...

– Ариадна... Некоторые считают, что нитью в путешествии Полякова по неизвестному является его скрипка, хотя я и не верю в это...

– Тогда поясните мне смысл триединства подвига Льва Осиповича, – попросил я.

– Это же так понятно! – удивилась Марина. – Он знал, что звуковые возможности скрипичных партитур не использованы, и он нашел к ним дорогу. Но чтобы овладеть этими возможностями, ему пришлось победить Минотавра, который всегда – в большей или меньшей степени – сидит глубоко в нас самих...

– Да-а? – на этот раз удивился я.

– Ну конечно же! Каждый человек – хозяин маленького или большого собственного Минотавра – косного, ленивого, традиционалистского, прожорливого и жадного. И не дай бог поддаться ему, тогда он обязательно сожрет своего хозяина...

Мне было ужасно смешно слушать, как она не спеша, спокойно и раздумчиво говорит об этом, будто рассказывает известную только ей сказку, и если бы она не была такая большая, достойная, величаво-спокойная, то все ее разговоры выглядели бы жеманством, но она поведала мне об этом, будто мы с ней оба все давно знаем и оба согласны во всех вопросах, да и быть по-другому не может, и она вправе говорить мне про «этот гнусный структурализм в искусстве», не вызывая усмешки, ей это можно было – она вся была естественной, рассудительной, душеутоляющей, хотя я и не мог себе представить, как это она – вся такая домашняя, уютная и ленивая – может лихо срывать смычком со струн ноты концерта Брамса, в листе похожие на индийские письмена и непонятные для меня в записи так же, как бугорчатый текст Брайля.

– И вы все обожаете Полякова как Тезея в лабиринте музыки? – спросил я, изо всех сил скрывая улыбку.

– Нет, – спокойно качнула головой Марина. – Мы его любим несколько эгоистически. Он наш педагог.

– И что?

Она посмотрела мне в глаза и откровенно улыбнулась:

– Судя по вашему вопросу, вы, как и большинство людей, полагаете, что педагог – это профессия. Я думаю, что это призвание, дар, долгое озарение. Слушатели, обычная музыкальная аудитория, – те твердо знают, что Поляков – гениальный солист-исполнитель. А вот специалисты до сих пор не уверены, в чем полнее выразилось дарование Полякова: как исполнителя или как педагога...

Говори она все это чуть-чуть с выражением, интонационными паузами и ударениями, хоть с самой незначительной аффектацией, я бы наверняка засмеялся. Но она говорила медленно, лениво, даже чуть монотонно, как о вещи самоочевидной. И я не усмехнулся, я ей верил.

– ...Существуют какие-то ходячие установки, принятые за догмы и претендующие на роль истин, хотя истинами они ни в коей мере не являются, – говорила не спеша Марина. – Утверждают, что талант обязательно щедр. Я знаю много талантов: одни щедрее, другие скупее – все это очень неодинаково. Про многих я вообще бы сказала, что это полностью замкнутые на себя таланты. Что касается Полякова, то про щедрость его таланта говорить просто неуместно, как мне всегда противны сравнения с щедростью земли. Земля – это природа, и Поляков – часть этой природы, а природа имеет потребность постоянно отдавать накопленное. Без этого он не мог бы жить...

– Ну, так уж и не мог бы, – сказал я. – Концертировал бы себе на здоровье, больше времени для репетиций...

Я сказал это нарочно, мне интересно было «подзавести» ее. Но она посмотрела на меня задумчиво, потом отрицательно качнула головой:

– Нет. Был такой скрипач Иконников. Я его, правда, никогда не слышала, но знатоки утверждают, что по масштабу своего дарования он превосходил Полякова, они учились вместе. Его звезда очень быстро возшла и почти так же стремительно сгорела. Вот Иконников учеников не любил, и никогда их у него не было.

– Звезда-то, наверное, сгорела не оттого, что учеников не было? – спросил я и подумал, что фамилия эта для меня новая – в нашем списке она отсутствовала.

– Конечно. Он не вынес, образно говоря, испытания мгновенной и ослепляющей славы. Но ученики для педагога как дети – они требуют от него повышенной ответственности.

– А что с ним стало?

– Не знаю. Он очень враждебно относится к Полякову, не знаю почему, и на все попытки Льва Осиповича помочь ему, поддержать как-то, отвечает злобными выходками. Поляков не любит говорить о нем...

Так. Вот это уже нечто совсем новое. Ну-ка, ну-ка...

– А в чем выражаются эти выходки?

– Да глупости все какие-то, но просто неприятно. Он, например, демонстративно не здоровается с Поляковым. Я помню, что, когда я была на втором или на третьем курсе, в общем, года четыре назад, Поляков узнал, что Иконников ушел из дома, где-то слоняется, пьет. Тогда Лев Осипович разыскал Иконникова и предложил ему денег на кооперативную квартиру, чтобы тот жил хотя бы пристойно, но Иконников его грубо обругал, – короче, тогда их отношения прервались совсем.

– А чем занимается сейчас Иконников, вы не знаете, случайно?

– Я точно не помню. Мне как-то Поляков говорил с удивлением и возмущением, что тот стал не то укротителем, не то дрессировщиком зверей – не помню я точно.

Я тоже удивился – впервые слышу, чтобы бывший музыкант становился дрессировщиком. Впрочем, чего в жизни не бывает. Ладно, проверим, чего в жизни не бывает.

– Непонятно, – сказал я.

– Да, – кивнула она. – Как в пьесах Беккета...

Я ей и Беккета простил, очень уж ей можно было все говорить, тут никуда не денешься – есть люди, которые могут говорить что угодно, и не вызывает это протеста, хотя скажи то же самое кто другой – и смех, и грусть, и зло вызвал бы. А вот ей можно... Я подписал ей пропуск, и когда она, огибая стол, прошла мимо, показалось мне на одно мгновение, будто рядом в зеленой стоячей воде тишины проплыл фрегат под белыми парусами, я даже плеск волн у высоких округлых бортов слышал, и тихо звучал, постепенно замирая, ее невыразительный голос: «Нитью в путешествии по неизвестному является его скрипка, хотя я не верю... Ему пришлось победить Минотавра... Каждый человек хозяин маленького или большого Минотавра... Это призвание, дар, долгое озарение... Есть полностью замкнутые на себя таланты... Его звезда очень быстро взошла и почти так же быстро сгорела... Он очень враждебно относится к Полякову... Стал не то укротителем, не то дрессировщиком... Как в пьесах Беккета...»

Я встал, походил по кабинету, бормоча себе под нос: «Как в пьесах Беккета, как в пьесах Беккета, как в...» А как там, действительно, в пьесах-то Беккета? Вот уж не знаю. Чего не знаю, того не знаю.

Вот меня-то Лаврова наверняка не обожает как своего педагога. Это, конечно, пережить можно, но все-таки приятно, когда тебя кто-то обожает как педагога. Как педагога, который спустился в лабиринт Минотавра, а это ведь рядом – и на остров Крит не надо ехать, где вместо свирепого чудовища бесчинствует хунта «черных полковников», а просто заглянуть в лабиринт души своей и шепнуть: «Эй, Минотавр, вылезай, потолкуем, ты как там ведешь себя во мне?» А он сразу скажет: «Старичок, почудилось тебе, глупая белая баба наговорила, что я живу в тебе и мечтаю тебя сожрать. А ты же ведь парень умный, сам понимаешь – какие там Минотавры, вообще о чем может идти речь, когда давно известно, что все мифы – это байки для детей младшего школьного возраста. Кроме того, ты человек отзывчивый, чуткий, добрый, с тонким душевным настроем, вот тебе и наклепали на меня, а ты сразу поверил, будто я есть в тебе. А меня в тебе нету...»

Ох, Миня-Минотавр, врешь ты мне все, сукин сын. Есть ты, есть, гад лохматый, скользкий, ползаешь, прячешься. Ладно, черт с тобой! Наверное, пока не прожить мне без тебя, живи, поганый, во мне. Был бы я белой девушкой, скрипачкой, аспиранткой, читал бы по вечерам пьесы Беккета, безыдейные и запутанные, возмущаясь прущим структурализмом, и была бы у меня душа – не запутанный темный лабиринт, где сидишь ты, чудище, в каком-то мерзком закоулке, а райский сад с геометрическими красными дорожками, как в алкоголической клинике, и негде было бы спрятаться тебе, и выволок бы я тогда тебя за ушко на солнышко, и выкинул на свалку моей жизненной истории. Но для того чтобы найти скрипку «Страдивари», вернуть людям красоту и радость, мне нужно шастать по переулкам и тупикам чужих душ, где все непонятно, как в не читанных мною пьесах Беккета, а ты, мой собственный, индивидуального пользования Минотавр, нацелен все это время мне на глотку, чтобы прыгнуть, разорвать,

задушить, как только я поскользнусь, зашатаюсь. А ведь скользко как в тупиках этих и переулках! Ну ничего, жди, жди, Миня. Мы с тобой заложники друг у друга, еще посмотрим, чья возьмет...

Я сел за стол и набрал телефонный номер.

– Подготовьте справку на гражданина по фамилии Иконников, бывший скрипач-солист, лет около шестидесяти. Имя не знаю. Ну спасибо. Я позвоню...

Положил трубку, и сразу раздался звонок – объявился Халецкий. Экспертиза установила, что в замок, который ремонтировали у Полякова, был засунут кусок металла, на рабочих плоскостях механизма – отчетливые царапины.

– И что вы теперь думаете? – спросил Халецкий.

– Я думаю, что там был такой же слесарь, как я – певец.

Халецкий засмеялся:

– Почему же? Слесарь он, возможно, хороший. Теперь надо установить, чем он занимался в свободное от слесарного дела время. Я уверен, что это именно он сломал накануне замок, а утром пришел как слесарь из ЖЭКа.

– Я тоже так думаю. Что с отпечатками пальцев?

– Завтра спецотдел даст конкретное заключение по всем представленным нами образцам...

«...Отпечатки пальцев на хрустальном бокале идентичны с отпечатками большого, указательного и среднего пальцев левой руки гр-на Обольникова С. С., 1914 г. р., дактоформула 47 536/37 424, проживает в г. Москве, привлекался к отв. за хулиганство».

– Но ведь, по нашим расчетам, он не мог быть той ночью в квартире Полякова? – обескураженно спросил я Халецкого. – У него ведь железное алиби?

– Мы стоим перед альтернативой, – спокойно улыбнулся Халецкий. – Или надо признать, что факты сильнее наших расчетов – дактилоскопия не ошибается. Или...

– Что «или»? – спросил я, мне было не до смешков.

– Или он был там накануне кражи, – пожал плечами Халецкий. – Следы свеженькие совсем...

– Зачем? – спросила Лаврова. – Если он передал вору ключи, ему там делать нечего было...

– Резонно, – согласился Халецкий. – Но если рассуждать по академической логике, он ведь мог вора проводить в квартиру накануне – оглядеться, посмотреть, где что лежит, разобраться вместе с ним в планировке квартиры... Разведка на войне – дело не последнее.

– Нет, – не согласился я. – Насколько я знаю воровскую психологию, это слишком сложно – разведка, подготовка. Если бы они вдвоем попали в пустую квартиру, очистили бы ее как миленькие и смылись...

– Оставив на глазах у розыска Обольникова с ключами от квартиры и безо всякого алиби? – саркастически спросил Халецкий.

– Хорошо, объясните тогда: зачем приходил слесарь? Ведь у Обольникова были ключи? – спросила Лаврова. – Вряд ли этому пьянчуге отводилась роль больше чем наводчика!

Халецкий потрогал дужку очков и сказал:

– Леночка, вы спрашиваете меня так, будто я присутствовал при их сговоре, а теперь по рассеянности все забыл... Я только рассматриваю вместе с вами возможные варианты.

– Если они накануне осмотрели квартиру, то какой смысл был отправлять телеграмму? – подумал я вслух.

Халецкий резко повернулся ко мне:

– А вы тоже думаете, что это пробный камень?

– Не знаю, – развел я руками, – не могу придумать другого объяснения. Поляков ни в какой связи не может вспомнить фамилию Таратута.

– Давайте вместе поедem к Обольникову, – предложила мне Лаврова.

Обольников завтракал. Мы стояли у дверей больничной столовой и смотрели на него, а он, ничего не замечая вокруг, ел. С какой-то болезненной остротой я вдруг уловил в нем сходство со жрущей добычу крысой – он наклонял низко к столу длинный костистый нос и при каждом глотке будто нырял в тарелку, на горле прыгал костяной мячик кадыка, а нос контролером проходил по окружности тарелки, будто принимавался, проверяя, все ли на месте, не упер ли кто чего из тарелки, пока он глотал предыдущий кусок. И все время шевелились на голове уши, и я только сейчас заметил, как не соответствуют всей его хрящевой голове уши – кругленькие, мясистые, заросшие рыжим пухом.

Лаврова повернулась ко мне:

– Старый доктор Чезаре Ломброзо с ходу дал бы ему пожизненную превентивку...

Я ухмыльнулся:

– К счастью, у нас нет превентивного заключения, а идеи доктора Чезаре не в ходу.

– А может быть, применительно к Обольникову это и не такое уж счастье?

– Не-а, – покачал я головой. – Я этих теорий вообще опасаясь. По секрету могу сообщить: мне ребята из научно-технического отдела в два счета доказали, что я сам классический ломброзианский тип грабителя с садистскими наклонностями.

Обольников закончил завтрак, корочкой хлеба вытер тарелку и, быстро прожевав, сказал няне:

– Так на обед не забудьте мне суп мясной, а то снова дадите рыбу. А мне сейчас организм укреплять надо. Аппетит, слава богу, хороший начался. – И, повернувшись к дверям, увидел нас.

Одернул серый халат, расправил пояс-веревку и быстро, мелко зашагал к нам, и протягивал он руки ко мне, будто сынок его отпуск из армии получил и примчался срочно на самолетах, поездах и пароходах из-за тридевяти земель проведать заболевшего родного папку.

От неожиданности я тоже протянул ему руку, и со стороны мы выглядели, наверное, очень умилительно. Только поцелуев не было. Я выдернул руку из его влажной, горячей ладони и с удивлением подумал о том, как же он мог всю семью много лет лупить такими маленькими, слабыми ладошками. А он проговорил:

– Ну слава богу, хоть знакомое лицо увидал, а то никто сюда ко мне и глаз не кажет, а человек-то, он ведь в обществе нуждается, ему бы со знакомым о близких делах поговорить, вестью приятной согреть изъязвленную тяготами да горечами душу. А родные-то мои, женушка дорогая да доченька, паскуда, оговорщица родителя своего, и не приходят ко мне, передачку не дадут – отца своего порадовать чем-либо вкусным, потому что здесь еда-то известно какая: больница, да нянечки, да сестрички-ласточки, и доктор дежурный тоже не прочь – все нороят из больничного котла унести чего-нибудь для себя, своровать себе на еду, а больному-то человеку питание нужно усиленное. Это не по вашей части, товарищ инспектор, проверять, как здесь хищают из корма больных людей? Много бы интересного для себя обнаружили... Да вам, правда, недосуг, скрипача обворовали – с его бебехами у вас сейчас морока. А здесь люди тихие, сырые, они потерпят, бедные люди – они вообще к терпежу привычнее, и мало им надо сейчас. Это только те, кто богаче, те и жаднее. Скрипач-то из-за барахла своего шум до небес, наверное, поднял. Их брат вообще до имущества и денег ох как лют! Человека живого не пожалеют за грош... А дама, простите, женой вам доводится?

Лаврова смотрела на него с изумлением. По-моему, она просто потеряла дар речи. Я-то к его фокусам уже привык несколько. Я посмотрел на желтое пятнышко яичницы, застрявшее в углу рта, водянистые, налитые злобой глаза, прыгающий нос и мягко сказал:

– Да, женой. В прошлый раз, Сергей Семенович, вы вызвали в моей душе такое сочувствие, что мы решили навещать вас вместе, семейно. Она мне даже пообещала, если вы понравитесь ей, забрать вас отсюда и усыновить. Вернуть вам незаслуженно утерянное тепло семейного очага, так сказать...

И я услышал, как радостно, весело захохотал, ликующими воплями заголосил во мне мой Минотавр. Но мне было наплевать на это, потому что в сравнении с Минотавром Обольникова мой был сущим щенком. Обольникова же его чудовище уже сожрало полностью. И сухая, жаркая злость целиком овладела мной:

– Как, Лена, нравится? Подойдет вам такой воспитанник? Вы его возьмете или оставите пока здесь?

Мы всё еще стояли в коридоре, и мимо нас неслышно сновали в мягких шлепанцах, как большие беззубые мыши, тихие больные в серых халатах. Лаврова сказала:

– Я думаю, его надо обязательно взять. Идемте в канцелярию...

Обольников будто очнулся из мгновенного забытья и заговорил быстро, сбивающимся бормочущим шепотом:

– Не надо... не надо меня брать отсюда... я ничего не сделал... не воровал я... меня не надо... не надо меня в тюрьму... не брал я... ничего ведь мне и не надо... – И вдруг в голос, пронзительно-тонко, в тоске и ужасе заверещал: – Не трогайте меня!.. Я не вор!.. Я ничего не сделал! Я не хочу в тюрьму!..

Он упал на колени, и к нам с разных концов коридора уже бежали санитарки и больные, а он кричал, быстро отползая от нас на коленях:

– Помилосердствуйте!.. Не хочу в тюрьму!.. Мне там нечего делать...

Я остолбенел и вдруг услышал голос Лавровой – негромкий, спокойный, но прозвучал он так, будто разрезал весь гам в коридоре ножом:

– Встать! Встать, я сказала!

И все вокруг замерли, как в немой сцене у Н. В. Гоголя.

Лаврова подошла к Обольникову и сказала совсем тихо:

– Если вы не прекратите сейчас же это безобразие, я вас действительно арестую. Встать!

Минотавр Обольникова был похож сейчас на грязного избитого пса. Дрожа и всхлипывая, Обольников бормотал:

– Честью клянусь, не воровал я ничего...

Тяжелая железная дверь захлопнулась за нами, и мы пошли по улице Радио к Разгуляю. Осень все-таки, наверное, забыла, что ее время на исходе, и день был ласково-солнечный, тихий, теплый. Лаврова наколола на острие своего длинного элегантного зонтика опавший лист и сказала:

– Дожди зарядят скоро...

– Наверное.

– Не люблю я осень...

– А я – ничего, мне осень подходит.

– У нас с вами вообще вкусы противоположные.

– Это не страшно, – сказал я. – Поскольку противоречия наши не антагонистические, мы охватываем больший диапазон мира.

Лаврова грустно усмехнулась:

– Мы с вами вообще классическая детективная пара: молодой, но горячий работник говорит – «надо брать». А старший, опытный и рассудительный, отвечает – «пока рано».

– Аналогия чисто формальная. Старший-то ведь всегда руководствуется соображениями высшей человечности: нельзя сажать человека в тюрьму, не доказав его вины наверняка...

– А вы чем руководствуетесь? – прищурилась Лаврова.

– Сухим эгоистическим рационализмом. Я бы этого субчика мгновенно в КПЗ окунул. Но с того момента, как по делу появляется заключенный, помимо разыскных хлопот, из меня начальство и прокуратура начнут каждый день кишки выворачивать – сроки ареста текут...

– А так?

– А так он себя сам определил на изоляцию. Сбежать отсюда ему невозможно, да и куда он побежит? Пусть сидит на антабусе и дозревает...

Мы дошли до угла, и я вспомнил, как здорово Лаврова справилась с Обольниковым.

– Слушайте, Лена, а ловко вы укротили этого барбоса. Просто молодец, я и то растерялся...

Она ничего не сказала, и мы дальше шли молча, потом она будто вспомнила:

– Знаю я их, сволочей этих. Насмотрелась. Мать меня одна вырастила.

Из будки автомата я позвонил на Петровку. Дежурный сказал, что для меня прислали справку.

– Прочитайте, – попросил я.

– «Иконников Павел Петрович, уроженец Харькова, 1911 года рождения, проживает во Вспольном переулке... – монотонно читал дежурный, – работает лаборантом-герпетологом в серпентарии Института токсикологии...»

Я положил трубку и спросил у Лавровой:

– Вы не знаете, что такое герпетолог?

– По-моему, это что-то связанное со змеями... Если я не ошибаюсь, герпетология – это наука о змеях.

– О змеях? – спросил я с сомнением. – А что такое серпентарий?

– Это змеевник. Ну вроде террариума, где содержат змей.

– Однако! – хмыкнул я. – Первый раз слышу о таком...

Лаврова сказала:

– Как это ни прискорбно, но в мире есть масса всякого, о чем вы не слышали.

– Так чего же в этом прискорбного! Один мой знакомый регулярно читал на ночь энциклопедию. И запоминал, главное, все, собака. Общаться с ним было невыносимо – все знал, даже противно становилось. Представляете, если бы я на ночь энциклопедию читал, а утром вам все выкладывал?

– У нас и так хватает о чем потолковать. Так вы в серпентарий?

– Да. Он в Сокольниках, на Шестом Лучевом просеке расположен.

– Ну и прелестно. А я в троллейбусный парк – насчет билета.

– Если бы вы были не в мини, а в длинном, до земли, криолине, я бы уговорил вас ехать со мной, – сказал я.

– Это почему еще? – подозрительно посмотрела на меня Лаврова.

– Зонт у вас есть, и мы бы вписались в осенний пейзаж парка, как на левитановской картине.

Лаврова засмеялась:

– Не больно-то далеко вы ушли от своего приятеля-энциклопедиста...

Не знаю почему, но так уж получилось, что я много лет не был в Сокольническом парке. Когда-то я очень любил его, и мы часто с ребятами ездили сюда в детский городок. Больше всего нас привлекал стоявший здесь подбитый трофейный «Мессершмитт-109». На карусели и игрушечные самолетики «иммельмана» денег у нас, естественно, не было, а в «мессершмитте» можно было играть сколько угодно, и, конечно, очень приятно было, что «мессершмитт» хоть и сломанный, но настоящий трофейный самолет. О нем, наверное, забыли, и мы исподволь раскручивали его до мельчайших винтов. Под конец самолет имел такой вид, будто в него

прямым попаданием угодил крупный зенитный снаряд. Нас это не смущало, потому что разбитый вид самолета не мешал чувствовать себя в кабине Чкаловым, Кожедубом или Маресьевым. А потом самолет куда-то увезли, наверное на переплавку, и, поогорчавшись немного, мы стали ходить купаться на Оленьи пруды, и парк тогда был еще совсем дикий – настоящий лес. Не было асфальтовых дорожек и современных павильонов-выставок, стеклянных кубиков кафе и шашлычных. Только в самом начале, у входа, стояло невообразимое деревянное сооружение, похожее на языческий храм, – кинотеатр, куда мы с переменным успехом, но с неизменной настойчивостью ходили «на протырку» – без билетов то есть. Здесь я смотрел «Подводную лодку Т-9», «Небесный тихоход», «Трех мушкетеров», «Александра Матросова» и «Робин Гуда». Я помню, когда показывали «Остров сокровищ» и Билли Бонс говорил, что он человек простой и ему нужна только грудинка, яйца и ром, мы – голодные дети войны – поднимали оглушительный хохот, полагая, что это такая нахальная шутка. Кинотеатр был частью моего детства, волшебным окошком, через которое я заглянул в большой мир вокруг себя. Потом, много лет спустя, когда я уже учился в университете, однажды ночью кинотеатр сгорел, и мне было ужасно жалко это нелепое, дорогое моему сердцу капище. На его месте выкопали пруд – красивый, с фонтанами, ночным подсветом, и он был очень здорово расположен – прямо против входа, но мне все равно было жалко, что кинотеатр сгорел, лучше бы пруд в другом месте сделали. И чего-то мне не хватало без моего уродливого дорогого кинотеатра, не хватало мне чего-то в парке, стал он какой-то чужой, и я перестал ходить в него.

А теперь здесь было красиво, тихо и пустовато – осень сама, одна, гуляла по парку. Кругом было полно желтого света, какого-то робкого, вялого, и деревья стояли без теней, а листья громко, как сучья, хрустели под ногами, и деревья – коричнево-черные, с голыми ветками, как на цветных линогравюрах. И в этот будний осенний день было так тихо здесь, что музыка, срываемая ветерком с далеких репродукторов, держала тишину в синеве неподвижного воздуха, как в раме. Я шагал по бурой, уже умершей траве и думал о том, что когда моим детям будет по тридцать лет, если они, вообще-то, будут, дети, то к тому времени Сокольники превратятся в такой же вычищенный и выбритый газон, как Александровский сад, и если я надумаю им рассказать, что это Шервудский лес моего детства, то они посмотрят на меня, как на старого дурака. Все меняется очень быстро. Как сказала бы в этом случае Марина Колесникова, «сильно прет структурализм». Я вспомнил о ней потому, что, пока я шел через этот прекрасный, приготовившийся к зимней спячке лес, мой Минотавр почти совсем откинул хвост, он еле дышал, так хорошо и спокойно мне было от свидания со своим детством. И никакие гнусные мысли и чувства не обуревали меня, и очень мне хотелось, чтобы все пришли повидаться со своим детством, очистившись от всей той пакости, что прилипает к нам – волей или неволей – в дни наших нелегких блужданий по коридорам и закоулкам жизни.

Но когда я увидел на двухэтажном кирпичном доме в глубине парка короткую табличку «Институт токсикологии. Лаборатория», Минотавр пробудился и шепнул: «Давай иди, спроси у Иконникова, почему он ненавидит Полякова, наверняка ведь плохой человек этот Иконников, и смотри спрашивай похитрей, с подковыркой этак...»

Я дернул черную, обитую клеенкой дверь и вошел в лабораторию. Не вестибюль и не прихожая – так, сени, в которые выходят две двери. Я постучал в правую дверь и услышал глухой, надтреснутый голос:

– Войдите!

За столом в окрашенной белилами комнате сидел рыжий человек с бородой колом и держал за голову змею. Белый, в палец величиной зуб выпирал у нее из пасти, и что-то апельсиново-желтое капало с этого клыка в мензурку. Человек поднял на меня бледное морщинистое лицо и сказал:

– Стойте у двери. Не бойтесь.

И я почему-то сразу понял, что это Иконников, и Минотавр в моей душе бешено заплясал, запрыгал, задергался, будто знал, что так просто с этим человеком нам уже не разойтись...

Глава 5

Каин для кнутабоища

Приказчик пересчитал деньги и сложил их в замшевый мешочек-кошелек.

– Синьор Консолини просил передать, что всегда счастлив работать для вас, синьор Амати. Мы стараемся, чтобы наши футляры были достойным обрамлением ваших несравненных инструментов. – Он согнулся в низком поклоне.

Мастер Николо ехидно засмеялся:

– Еще бы! Вместе с моими скрипками этот прохвост Консолини проносит во дворцы и свое имя. Клеймо на футляре, наверное, не забыл, поставил? А-а?

– Вы так проникательны, маэстро! Конечно, синьора Консолини не интересует выгода от ваших заказов. Он верит, что его скромное имя пребудет где-то поблизости от лучезарной славы Амати, судьба которого – остаться в веках. – Пятясь к двери, приказчик от полноты чувств прижимал руки к сердцу.

– Поэтому футляр стоит на два флорина дороже? – поинтересовался Николо.

– Прошел год, и синьор Консолини надеется, что за это время ваша скрипка стала дороже на тысячу флоринов, – дерзко сказал приказчик.

– Вон отсюда! – рявкнул Николо, и приказчик прошел словно паром сквозь дверь. Амати засмеялся и сказал: – Дурак твой синьор Консолини. Эта скрипочка стоит уже пять тысяч дукатов. Вот так-то! Что, Антонио, дешевле ведь мы не отдадим ее, а?

– Меня это не касается, – сухо сказал ученик. – Я у вас все равно ничего не получаю. Я работаю за хлеб и науку...

Амати, пританцовывая, прошел по комнате, и живот ему предшествовал, как океанская волна грохоту прибора. Он открыл крышку черного кожаного футляра – тяжелого, массивного, важного. В рытом сером бархате обивки таинственно темнело углубление для скрипки – сюда, в богатые створки пустой еще раковины-жемчужницы, ляжет перл творения Амати, чудо пальцев и слуха его, всплеск памяти его обо всем светлом и горестном, что довелось услышать и увидеть за долгий век. Антонио смотрел в пустой футляр и думал о том, что пустота эта – ожидание перед священным таинством, волнующее неизведанным и тревожащее своей решенностью – как постель новобрачных.

Так радуйте, футляры Консолини! Вам доверены прекрасные невесты из дома Амати! В тот день, когда они только задуманы, прекрасные дочери Амати, они уже обручены с лучшими женихами Европы. Ваши женихи, дочери Амати, – пальцы герцогов и банкиров, кардиналов и маркграфов! И никто не спрашивает вас, прелестные маленькие Амати, нравятся ли вам женихи, – они заплатили за вас звенящие флорины и дукаты, цехины и пиастры. Их звон – твердая плата за долгие годы ваших страданий с нелюбимыми мужьями – толстыми, грубыми, бесчувственными и злыми, и голос ваш хрипнет от болезненных вскриков в ярости горьких услад ваших мужей. Но и они знают, что держат вас для любовников, ибо только ненадолго случайный талант может получить вас в объятья – купить ваше счастье талант не может, поскольку за радость обладания вашим волшебным звуком он должен расплатиться злым звоном желтого металла, а таланты всегда бедны. И от сознания временности вашего совместного счастья, от неудовлетворенности всем прожитым донине, от серой мглы завтрашних тупых неумелых ласк мужа вы, маленькие Амати, сливаясь с талантом в экстазе, поете так, что про вашего отца-создателя говорят, будто он колдун. И от этого вы становитесь еще завлекательнее. Так пойте же, скрипки Амати! Пойте выше, теплее и сильнее. Сегодня последний день вы дома. Завтра возведут вашу младшую сестру на бархатное ложе футляра Консолини, на тряских мальпостах и в фельдьегерских колясках помчат в унылый сырой замок курфюрста Прусского, и там ей придется долго и безропотно сносить жестокие ласки маленького наследника, пока не придет,

спустя множество лет – наследник успеет стать монархом и, отцарствовав, умереть от старости, а она все будет юной и прекрасной, – много лет спустя придет талант, о котором мечтали ваш создатель и его молодой неумелый подмастерье, придет и ласковой, но сильной рукой вновь вызовет к жизни ее бессмертную душу – душу дочери Амати!..

Страдивари оторвался от своих размышлений и увидел, что держит в руках скрипку и бессознательно поглаживает ее по деке, как маленького ребенка. Скрипка, маленькая молчащая виолина, золотистая и округлая, как грудь деревенской девушки, светилась теплом и нежностью.

Амати сидел в своем резном деревянном кресле, пил прямо из оплетенной фляги белое тосканское вино и с любопытством смотрел в упор на Антонио.

– Учитель, извините меня за дерзость, но вы же и так богаты! – сказал прерывающимся голосом Страдивари. – Зачем вы продаете свои скрипки этим болванам? Пускай скрипки лежат дома, ведь вы же сами говорите, что с каждым годом они становятся дороже!

Амати развязал на брюхе испанский кушак, облегченно вздохнул, угнездил ноги на маленькой скамеечке.

– Дочь в семье должна выйти замуж, – сказал он. – А творенье мастера должно прийти к людям, иначе он умрет как созидатель. Если бы мои скрипки никто не покупал, я раздавал бы их даром.

– Но люди, к которым они попадают, не отличат ваш инструмент от балаганной виолы. Они платят за ваше имя и футляр Консолини!

– И в этом ты прав, мой мальчик. Но есть одна тонкость, которой ты пока понять не можешь. В твоем возрасте все оценивается меркой сегодняшнего дня, а жизнь твоя кажется бесконечной. И слова: «Начало человека – прах, и конец его – прах: он подобен разбившемуся черепку, засыхающей траве, увядающему цветку, проходящей тени...» – для тебя это только слова. А для меня это уже завтра. Поэтому я думаю о том, какую тень оставлю, проходя по жизни. И когда тебе будет столько лет, сколько мне, ты поймешь, что тень жизни нашей – это творение рук наших. Вот это – уже незасыхающая трава и неувядающий цветок. Это инструменты, которые проживут века, принося людям счастье. Еще и не родились компонисты и музыканты, которые оценят по-настоящему скрипку, что ты трепетно сжимаешь в руках. Их слава и музыка впереди. Пройдут века, и мы с тобой не узнаем даже, какие божественные звуки может извлечь из этого обиталища музыки гений. Но скрипки будут жить и тогда, когда умрут эти люди, ибо бесменен круговорот людской жизни, как восход и уход солнца, как прилив и отлив океана, и потребность людей в прекрасном бессмертна. И не дано нам с тобой знать, кто и для кого будет играть на этой маленькой виолине, потому что века – это, мой мальчик, очень много времени...

* * *

– Характер человека – это его судьба, говорили древние греки, – сказал спокойно Иконников. – А они, греки, значит, были ребята куда как неглупые...

Я спросил:

– Так вы что, на характер жалуетесь?

Он удивленно посмотрел на меня:

– А почему вы решили, что я недоволен своей судьбой?

Я неопределенно хмыкнул. Иконников достал из стеклянного шкафчика жестянку, не спеша снял крышку и стал насыпать в нее из разных пачек табак. Он насыпал «Капитанского», добавил щепоть «Золотого руна», из стеклянной баночки – зеленого самосада и потом уж – совсем немного, бережно, как приправу, – голландского табака «Амфора», который он очень аккуратно сыпал из нейлонового мешочка с красивыми печатями и рисунками с вензелями.

Потом убрал пачки, закрыл крышку и стал трясти жестянку ровными круговыми движениями, как бармены трясут шейкер с особым коктейлем. Взял листок папиросной бумаги, насыпал свой табачный коктейль на одну сторону, мгновенно свернул самокрутку, лизнул край, склеил – получилась удивительно ровная, очень длинная сигарета. И прикурил. А я все время смотрел на его пальцы – длинные, худые, видимо, очень сильные, пожелтевшие от табака и химикатов, и последняя фаланга у ногтей совершенно сплюснутая, на всех пальцах у него была приплюснута последняя фаланга, поэтому казалось, будто он держит свою необычную сигарету широкими захватами пластмассовых плоскогубцев.

Синим облачком пополз по комнате дым, а Иконников сказал:

– Как я понимаю, вы раза в два меня моложе?

– Примерно, – кивнул я, хотя знал, что я моложе его ровно на двадцать восемь лет.

– И при всем уважении к вашей работе я полагаю, что в оставшиеся вам годы жизни быстротекущей вы не подыметесь так высоко, как я, и не падете так низко, – сказал он и быстро добавил: – Я имею в виду, конечно, вопросы творчества в работе. Поэтому вы не можете судить, насколько удачной была моя судьба...

Я промолчал на всякий случай, а он, глядя в угол, где в клетке веретеном ходила огромная змея, сказал:

– Биологически человеку предопределено стремление побеждать. Это условие – непереносимое и естественное условие его существования. Поэтому люди ошибочно полагают, что и в сфере моральной залогом счастья является число одержанных ими побед – в обществе, дома, на службе.

– А что является счастьем? – спросил я.

– Познание самого себя. Познать себя можно только в покое. А покой мы обретаем, проходя сквозь боль и стенания. И, познав покой, уже никогда не жалеешь о том, что было, не волнуешься о том, что будет, а просто живешь в настоящем, и ощущение этой осени, выгоревшего огромного неба над тобой, простора, воздуха, моря золотых листьев, всего прекрасного и ужасного мира вокруг – вот счастье.

– У вас идеалистическое мироощущение, – сказал я нравоучительно.

– Да как там ни называйте, – усмехнулся Иконников, – а для меня это так...

– И змеи – тоже счастье? – спросил я ехидно.

– А что змеи? Змеи – это прекрасное творение природы, грациозное, смелое, полезное.

И незаслуженно оклеветанное человеком из слабости и страха.

– Н-да? – неуверенно пробормотал я.

– Им даже разряд придумали оскорбительный – гады. Это же надо – гады! – сказал он с недоумением.

– Но они же и есть гады, – сказал я, – жалятся ведь, проклятые.

Он с сожалением взглянул на меня.

– Тогда давайте запретим автомобили. Людей ведь давят, проклятые, – передразнил он меня.

– Ну это не сравнение, – не согласился я.

– Почему? Вполне правомерное сравнение, – твердо сказал он. – Количество пострадавших от змеиных укусов по отношению к исцеленным их ядом гораздо меньше числа автомобильных жертв. Вот взгляните...

Иконников отдернул со стены занавеску, и зрелище я увидел кошмарное. Только теперь я понял, откуда идет все время беспокоивший меня шорох и еле слышное шипение – стена за занавеской сплошь состояла из змеиных клеток.

– Взгляните, какие красавицы, – сказал Иконников, – это королевская кобра...

Змея подняла расплюснутую морду с черными обводами вокруг мертвых пуговиц-глаз и посмотрела на нас сонно, прожорливо-тупо.

– А это южноамериканская змея фер-де-ланс. – (Этот гад был похож на модные лет пятнадцать назад коричневые плетеные брючные ремни, только изо рта все время вылетал и мгновенно исчезал в пасти, будто ощупывал дорогу, раздвоенный, как рыбная вилка, язычок.) – Ее укус поражает человека, как выстрел в висок... – продолжал Иконников. – А это египетская кобра. Я ее называю Нюся, старая моя приятельница...

– Почему?

– Укусила она меня как-то случаем...

– И что?

– Как видите – отходили. Это зеленая мамба, очень полезная животина. Это австралийская тигровая змея. Никак я ее не приручу. Вот если она цапнет – то все, пиши пропало. А это мой любимец – крайт голубой...

Полутораметровое полено, серое, с еле заметным голубым отливом, как сгнивший ольховый ствол, валялось в клетке. Набрести на такого в лесу – обязательно наступишь. От этой мысли у меня прошел холодок по спине.

– Вот наши среднеазиатские обитатели – гюрзы и эфы, а это коралловый аспид...

Ничего омерзительнее этого асида в жизни я не видел. Красно-желто-черный, с поперечными полосками, гладкий, он свернулся пожарной кишкой, подняв над этим противным клубком черную голову с невыносимо красными злобными глазами, тускло мерцавшими, как сигнал жуткой опасности, – безжалостными, ледяными, спокойными. Змея была мне противна, но я не мог оторвать от нее взгляда, а она смотрела на меня, будто звала: иди сюда, иди...

Я тряхнул головой, чтобы сбросить это наваждение, и увидел в последней клетке несколько ежей и большую рогатую жабу, и обрадовался им, будто где-то на полпути через Сахару встретил живого человека. Ежи суетливо топтали лапками, бегали по клетке, как по карусельному кругу, а жаба, добродушная, безобидная, старая, сидела в середине и дремала.

– Не понравились, я вижу, вам мои питомцы? – спросил с насмешкой Иконников.

– А что же в них может понравиться? – спросил я угрюмо.

Иконников засмеялся:

– Эх, люди, люди, как же закоснели вы в своих предрассудках! А то, что ядом этих гадов лечат от лихорадки, оспы, проказы, артритов, ишиаса, радикулита, эпилепсии, ревматизма – это как?

– Так если я от гриппа сульфадимезином лечусь, мне что – формальдегид любить, что ли?

Он махнул рукой:

– Не в этом дело. Просто отношение к змеям характеризует общую человеческую тенденцию слагать на других ответственность за свой страх, невежество, беспомощность...

– Ну не такие уж они плохие, люди-то. Нет смысла обобщать. Я хоть вас и моложе, но плохих людей повидал достаточно, и то...

– Что «и то...»? Мол, лучше к людям относитесь? Так вы служитель закона, вам полагается быть бесстрастным. Хотя бесстрастие закона – одни пустые словеса.

– Это почему?

– Потому что закон претендует на роль высшей правды. А такой общей высшей правды, приемлемой для всех людей, по-моему, не существует. У каждого человека свои интересы, своя правда...

– Закон наш является высшей правдой нашего общества и охраняет солидарные интересы большинства людей.

– А! Большинство, меньшинство – это категории не нравственности, а арифметики...

– Но здесь арифметика неизбежно переходит в мораль...

– А что такое мораль? Мы же с вами говорили про высшую правду. Она не может меняться, как прогноз погоды, а каждое общество порождает свою мораль. И, доведенная до

каждого отдельного члена общества, эта мораль всякий раз деформируется. Так было, так и будет.

– Отчего же у вас такой пессимизм?

– Потому что я точно знаю, что общество нуждается в негодах. Не будь их, не возникла бы разность нравственных потенциалов – не появился бы ток общественной морали. И мораль отсчитывают не от высот добродетели, а от глубин негодаяства! Это как абсолютный ноль – минус двести семьдесят три...

Я перебил его:

– Абсолютный ноль – это новорожденный младенец, не обладающий ни пороками, ни добродетелями. Общество и мораль формируют из этой психобиологической конструкции человека...

– Правильно! Если взять вашу систему отсчета, он идет после этого вниз, выступая чистым потребителем и целиком завися – всей жизнью своей – от воли и морали общества. А оно прививает ему потребности, и у вылупившегося человека появляется своя правда, и он сразу же вступает в постепенно нарастающий конфликт с обществом...

– А почему обязательно в конфликт? – разозлился я.

– Потому что природой заложена в человеке потребность побеждать – почитайте у Дарвина про естественный отбор. И мудрые люди – попы, кострами и плахой два тысячелетия вбивавшие людям свой высший закон, декретировали для людей существование негодаяства, отыскав первого в мире козла отпущения...

– Это кого же? – поинтересовался я.

– Каина.

Иконников свернул себе новую самокрутку, прикурил, а я смотрел на его бледное морщинистое лицо, красную бороду колом, расширенные – во весь глаз – зрачки и думал, что, наверное, так выглядели упорствующие еретики.

– Если хотите, то в писаной истории Каин был первой жертвой необоснованных репрессий. Вчитайтесь внимательно в Ветхий Завет, и вам, следовательно, станет ясно, что Каин не убивал брата своего. Гордым и работающим землепашцем, честным трудягой был Каин. И политые его соленым потом хлеба, Господу поднесенные, не понравились Вседержителю. Ему больше по вкусу пришлись шашлыки прасола Авеля. И с пренебрежением, свойственным всем тиранам, Он не скрыл этого от братьев, чем, естественно, обидел человека, вложившего в хлеба эти треклятые все свои силы. И Каин показал Богу, что он обижен этим. А когда Авеля зарезали, скорее всего кочевники, которым его стада тоже были по вкусу, то появился «казус белли». Наконец возник момент, когда можно было показать людям, что на Бога нельзя обижаться, даже если Он не прав. Нашлась условная точка отсчета негодаяства – безвинный братоубийца. И объявился Каин, наказанный дважды, ибо Богу было необходимо долгое существование живого жупела, и распорядился Он, чтобы отмщен был всемерно, кто убьет Каина, поэтому даже в смерти бедолага не мог найти приют и успокоение... И для каждого здравомыслящего человека Каинова печать – не позорный знак, а сигнал о бдительности: осторожно! Кому-то нужен для публичного кнутабоища Каин...

Вот здесь в нашем разговоре возник контрапункт. Зря, конечно, он так четко, прямо в лоб отбил мне обратно вопрос, с которым я пришел сюда. И он это тоже почувствовал, мы одновременно поняли это. Пока он заманивал меня в мрачный извилистый туннель своей логики, извивающийся устрашающими причудливыми петлями, как лежащий в углу аспид, я невольно шел за ним, потому что там – в самой глубине, в конце этого непонятного узкого лаза – могло быть понимание его личности, причин конфликта с Поляковым и его роли в похищении «Страдивари». И тут тон и направление задавал он, потому что это я пришел к нему в душу, мне очень хотелось поглядеть на его Минотавра. Но он допустил неточность, как увлекшийся маркшейдер, и штрек неожиданно вышел наверх, к поверхности, рухнул тонкий слой грунта, и мы

оказались оба на свету, ослепительно-ярком, режущем глаза нерешенностью стоявшего между нами вопроса. И очередь на слово была за мной.

– Я вас понял. Но мне не нужен Каин для кнутабоища. Мне нужен в первую очередь вор для того, чтобы отобрать скрипку...

Иконников сухо, скрипуче засмеялся:

– Вот наконец все и стало на свои места. Я во всем ясность люблю. Допрос так допрос, а промывание мозгов – эти процедуры не для меня. Итак, что вас интересует?

Я взглянул на него, и мне вдруг ужасно захотелось закурить такую же, как у него, длинную самокрутку, набитую необычным табачным коктейлем, от которой слоился, оседал к полу пластами густой ароматный дым.

– Я не настолько глуп, чтобы агитировать вас за проявление общественной сознательности...

– Смешно бы было, – усмехнулся он.

– ...Но мне надо, чтобы вы ответили на несколько неофициальных вопросов. Можно?

– А вы попробуйте.

– Почему вы враждуете с Поляковым? – Задавая этот вопрос, я был уверен, что он не станет отвечать на него.

– А я с ним не вражду. Это обывательские сплетни, – спокойно сказал Иконников. – Мелкие люди компенсируют пустоту своей жизни сплетнями о страстях знаменитостей.

– Эти сплетни имеют фактическое подтверждение. В виде свидетельских показаний.

– А вы плюньте на эти показания. Те, кто давал их, и не представляют, что существуют эпохи, разделенные, как галактики, барьерами времени: Вчера, Сегодня, Завтра. Что будет Завтра, того еще нет, и говорить об этом нечего, а что было Вчера – того уже нет. Вчера, когда оно еще существовало, я не любил Леву, это правда. А сейчас – нет. Нет его для меня, и дела его – радости и горести – не интересуют...

– А не любили за что?

– За что? – задумался Иконников. – Трудно сказать. Зависть? Нет, наверное, я ведь был способнее его. Не знаю, короче говоря. А скорее всего, потому, что в нем было все то, чего мне не хватало, чтобы гением скрипки стал не он, а я. Вам это понятно?

– Честно говоря, не очень.

– Как говорил наш добрый старик-педагог, о-бя-сня-й-ю. Это было лет сорок назад, мы еще совсем молодые были. Дебют в Москве – шутка ли! Я был тогда немного не в форме, а Лев играл труднейший концерт Пуньяни и сыграл его с блеском. Приняли его великолепно. Возвращаюсь ночью в гостиницу, веселый, с гулянья и слышу, из номера Льва раздается мелодия каденции, вторая часть, и снова, и снова – раз за разом, раз за разом. Я прислушался и понял, что он один заметил ошибку при исполнении – брал слишком низкие ноты, и сейчас, после триумфа, один в гостиничном номере, наверное и не поужинав, отрабатывает этот кусок. Которого и не заметил-то никто! Раз за разом, раз за разом, снова, снова, снова... Тогда, в коридоре, эта жалкая, не замеченная никем ошибка в каденции Пуньяни прозвучала для меня колоколом судьбы. Но я не услышал его – очень был силен шум оаций. А он все набирал полет, тихонький, застенчивый, добрый, а я все был уверен – ерунда, я ведь много способнее его, это же всем известно. Пока однажды не понял, что он от меня оторвался навсегда – мне его уже было не догнать. Он ведь мог после овации один, в пустом гостиничном номере, раз за разом, снова и снова играть кусок из всеми забытого Пуньяни... Вот он и определил мою судьбу...

– Не вытекает из вашего рассказа, – сказал я.

– Почему же не вытекает? – раздраженно заметил он. – Это ведь сыщиком можно быть вторым, четвертым или восемнадцатым – все пригодятся. А скрипач, если он только не перед киносансом в фойе играет, может быть только первым. Быть вторым уже нет смысла. Неинтересно, да и некрасиво...

– Да, – кивнул я, – если характер человека – его судьба.

– Конечно. У каждого судьба своя и своя правда.

– Но ведь правда Полякова, вот та правда, что ковалась смычком в одиноких гостиничных номерах на каденциях Пуньяни, вашей жизненной правде никак не противостоит! В крайнем случае они, ваши жизненные правды, могли сосуществовать параллельно!

– Думаете, не противостоит? – прищурился Иконников и отогнал рукой дым от глаз. – Тогда ответьте мне: что заставляет его, признанного миром гения, окруженного восторгом и поклонением, искать дружбы со мной, нелепым, взбалмошным человеком, которого многие попросту считают сумасшедшим?

Я помолчал, стараясь точнее подобрать слова, но он, не дождавшись, спросил:

– Молчите? А вот мне Гриша Белаш рассказывал недавно, что Лева снова собирается ко мне приехать, говорить о наших неправильных отношениях. А какие у нас отношения? Так, пар, воспоминания...

– А вам не кажется, что Поляков просто добрый, хороший человек, что он, возможно, мучится от мысли, что весь этот ваш змеевник – шутовской колпак, который вы добровольно, назло людям натянули на себя!

Иконников тихо, почти шепотом засмеялся:

– До-о-брый? Ха-ха! Он мучится от комплекса вины, оттого, что незаконно занял чужое место, и его снедают стыд и мысли об обворованном им человеке. Вот теперь у него украли только инструмент – пусть узнает, каково было человеку, у которого украли дело его жизни!

Мы посидели молча, и я думал о том, что ничто не может распрямить его безобразно искривленную убежденность в том, что ответственность за его крах несет кто угодно, только не он сам.

Иконников бросил в пепельницу окуроч, встал и подошел к клетке с коралловым аспидом. Змея медленно повернула к нему острую голову, завораживающе впилась в него мерцающим красным взглядом. Иконников приоткрыл окошечко в пластмассовой стенке, и гад начал плавно, незаметно вытягиваться, распрямляться, он весь струился розовым гладким телом, будто ночной подсвеченный фонтан, но струя его не падала, а все тянулась, медленно росла вверх, пока эта противная острая головка с белыми ровными обводами глаз не вылезла наружу. И в тот же миг, это произошло молниеносно, Иконников схватил сильной, точной, длинной кистью змею чуть ниже головы, за шею, и поволок ее наружу, из клетки.

Он сделал два шага к столу, и я увидел совсем рядом – только руку протянуть – маленькую змеиную пасть с белым крючком ядовитого клыка. Змея вилась по полу, сворачивалась кольцами, с шумом и шелестом ударялась по кафелю, обвиняла серпантинном ноги Иконникова. Он был похож в этот момент на пожарного со взбесившимся шлангом в руке.

– Вы не видели, как змеи атакуют? – донесся до меня откуда-то издалека голос Иконникова.

Мелькнула бесполезная мысль о бессильном пистолете на поясе – пока я дотянусь до кобуры, змея вопьется в меня, как дротик.

Вдруг пальцы Иконникова на шее аспиды чуть-чуть ослабли – я видел это, я готов поклясться, что он разжал кисть, и змея рванулась ко мне, как будто он выбросил из рукава клинок. Переливающийся корпус аспиды висел в воздухе совершенно горизонтально, а пасть и рубиновые пуговки глаз замерли в полуметре от меня.

Иконников с любопытством взглянул на меня – видимо, я сильно побледнел – и засмеялся:

– Не бойтесь. Она у меня почти ручная...

Он взял со стола мензурку, затянутую поверху нейлоновой пленкой, и поднес ее к пасти аспиды, и сразу же змея сделала рывок, удар, тихий треск – клык пронзил пленку, и я увидел, как из него цевкой брызнула тоненькая струйка желтой жидкости...

Честно говоря, я плохо помню, как он запихивал змею обратно в клетку, долго мыл под краном руки, потом подошел к столу и сел как ни в чем не бывало.

– Это вы сделали, чтобы попугать меня? – спросил я, и голос мой звучал хрипло, а по лицу стекали капли пота.

– Зачем же? – почти весело сказал Иконников. – Вам так не понравился аспид, а я вам сберегу эту порцию яда...

– А для чего?

– У вас, у сыщиков и гениев, работа очень нервная, сердце быстро изнашивается. Наверное, как свое сработается, захотите на новое сменить. Операции по пересадке теперь в моде. Вот без яда аспиды организм ваш отторгнет новое сердце. А яд этот сделает ваш организм спокойнее, сговорчивее, подавит он его, обломает, и заживете вы себе второй, новой жизнью, которая будет краше предыдущей...

– А себе вы припасли такой?

– Мне не надо, у меня сердце хорошее, спокойное. Я ведь узнал покой. Кроме того, мне и одной жизни много. Это только гении нужны человечеству вечно...

Я встал и сказал ему:

– Все это ложь, вся жизнь ваша и философия – ложь и змеевник – ложь, потому что вы устроили из него для себя заменитель острых переживаний, страхов, радостей и страстей, которые переживает настоящий артист. Вы и змей-то своих наверняка боитесь, так же как и я, но они вам необходимы для внутреннего самоутверждения. Ладно, если вы мне понадобится еще, я вас вызову. До свидания...

Я вышел на улицу, вдохнул полной грудью студеный чистый воздух осени и подумал, что прошедшие два часа были похожи на какой-то нелепый, вздорный сон, фантасмагорию еще дремлющего сознания. И только одно ощущение осталось четким: он меня пугал. Зачем ему надо было меня пугать?..

Я шел не спеша через парк и пытался привести хоть в какой-нибудь порядок свои впечатления, сделать выводы, принять решения. Но ничего из этого не получалось – Иконников не влезал ни в одну из понятных мне человеческих категорий. Интеллигентность, позерство, обида, острый ум и злая ограниченность, поиски счастья и покоя в змеевнике, борьба за какую-то микроскопическую воображаемую правду, Каин, концерт Пуньяни, аспид, вылетающий из его руки, как клинок, – все перемешалось у меня в голове в невероятный калейдоскопический хаос, мелькало, прыгало, не давало собраться с мыслями...

Потом всплыло в памяти имя, засыпанное обвалом искореженных мыслей, оседающих после взрыва иконниковского покоя. Гриша Белаш... Гриша Белаш... Я уже слышал это имя, но не мог вспомнить, в какой связи. Я остановился у автоматной будки и позвонил Лавровой. Никто не отвечал по ее номеру, и я уже собрался положить трубку, но в аппарате вдруг щелкнуло, и я услышал запыхавшийся голос Лены:

– Инспектор Лаврова у аппарата.

– Добрый вечер, это я...

Она отдышалась и сказала:

– Я из коридора услышала звонки и пока добежала...

– И мировой рекорд в спринте остался незафиксированным, – сказал я.

– Ничего, стоит вам позвонить, и я повторю его, – сказала она. – А вы откуда?

– Из парка. Я прогуливаю себя в пустом вечернем парке. Красиво здесь очень...

Лаврова помолчала, затем спросила:

– Вас в это настроение вверг дрессировщик змей?

– В какой-то мере. Скажите, Лена, вам имя Григорий Белаш не знакомо?

– Знакомо. Я с ним уже разговаривала. Это настройщик роялей, он проходил у нас по четвертой линии. Так сказать, сфера обслуживания... Вы читали протокол его допроса.

Я вспомнил. Григорий Петрович Белаш, настройщик, регулярно бывает у Полякова, характеризуется с наилучшей стороны, во время кражи находился в командировке, алиби provedено – результат положительный.

– А личное впечатление какое у вас осталось? – спросил я.

Лаврова подумала мгновение, будто вспоминала, и я представил, как она пожимает плечами, и ей это неудобно делать, потому что телефонная трубка прижата плечом к уху – руки то заняты, – она наверняка уже достает из пачки сигарету, и зажигалка только чиркает, но не горит. Она не то вздохнула, не то затынулась, сказала:

– Приятное впечатление. Человек умный, наблюдательный, по-моему, весьма искренний, держится достойно. Ну и как пишут в ориентировках: «Рост – высокий, телосложение – худощавое, лицо – белое, привлекательное, глаза – карие...» А может быть, и не карие. Это я так, к примеру, сказала...

– А вы не можете ему так, к примеру, позвонить и пригласить снова к нам?

– Могу конечно. А что – интересует он вас?

– Он нет. Меня Иконников интересует.

– Но-о? – удивилась Лаврова. Этот странный возглас выражал у нее крайнее удивление. – Что-нибудь серьезное?

– Да, у нас с Иконниковым серьезно, – улыбнулся я. – Он меня или пугал, или хотел укусить...

– Укусить? – удивилась Лаврова. – В каком смысле?

– Это я так, к примеру. В фигуральном смысле. Значит, насчет Белаша договорились? Завтра, к десяти.

– Договорились.

– А что у вас слышно? С билетом? – поинтересовался я.

Лаврова снова помолчала, потом не очень уверенно сказала:

– Я думаю, у Обольникова надо обыск сделать. Билет, скорее всего, был его...

– Это так в парке считают? – спросил я.

Лаврова разозлилась:

– Нет, это я так считаю!

– Расскажите мне тоже, – попросил я.

– Пожалуйста. Но я боюсь, пока мы будем вести все эти переговоры, зональный прокурор уйдет домой. А нам санкция понадобится...

– Вы уверены, что понадобится? – спросил я осторожно.

– Абсолютно, – сказала твердо Лаврова.

– Я, правда, не представляю себе, что мы там можем найти, – продолжал тянуть я.

– Между прочим, я тоже не рассчитываю найти у него скрипку под диваном...

– А что рассчитываете?

– Не знаю, – сердито сказала Лаврова. – Но отрицательный результат – это тоже результат.

– Трудно спорить. Ну что ж, валяйте. Встретимся через час на «Маяковской»...

Привалившись спиной к стене, я стоял у входа в метро и ждал Лену. Мимо шли люди, очень много людей, и каждый из них, наверное, нес груз забот, не меньший, чем я. Миры, целые миры потоком шли мимо меня. Господи, сколько же может вместить в себя один человек! Миры, прекрасные и унылые, ликующие и мрачные, высокоорганизованные и почти умершие, шли плотной толпой – через двери метро «Маяковская» в часы пик протекает Млечный Путь, целая Вселенная. Люди казались мне громадными, непостижимыми, таинственными планетарными системами, и познать все уголки их природы было невозможно даже с помощью фотон-

ных ракет, которые не знают времени, а подчинены только пространству. Стучит турникет на входе, дверь – вперед, дверь – назад, люди – вверх, люди – вниз. Благодушные Моцарты, обиженные Сальери, усталые трудяги, кипучие лентяи, одинокие красотки, а уродки – нарасхват, смелые воры и осторожные сыщики. Только почему осторожные? Говори уж попросту – испуганный сыщик. Он ведь здорово напугал меня. Ах, как окреп и вырос сегодня мой Минотавр! Он налился моим испугом, как волшебной силой. Сегодня он ведет в счете и потому молчит, довольный, сытый моим стыдом и горечью...

– Купите своей девушке свежие цветочки...

Передо мной стояла цыганка, на левой руке у нее мальчуган, а в правой – целая охапка астр. Астры были фиолетовые, поздние, грустные и остро пахли землей.

– Сколько стоит? – спросил я осмотрительно.

– Всего рубль букетик, – ответила она снисходительно.

– И по-старому рубль букетик стоил...

– Вот ты на старый рубль и купи тех астр, что тогда продавались, – сказала она весело.

Я протянул ей монету, но моя милицейская душа все-таки не выдержала, и я ворчливо сказал ей:

– Лучше работать шла бы...

– А ты спроси у ненаглядной своей, которой цветочки купил: лучше будет, если я работать пойду?

– Та, которой купил, думает, наверное, что лучше, – усмехнулся я и вспомнил, что мы с ненаглядной моей, той, которой цветочки купил, идем делать обыск, и коловращение миров вокруг сделало новый вираж. Елки-палки, глупость-то какая – на обыск с цветочками! Цыганка уцепилась за какого-то толстого дядю, а я стал оглядываться по сторонам в поисках урны, куда можно бросить цветочки, те, которые своей ненаглядной купил, и увидел на первом столбе колоннады Концертного зала Чайковского афишу: «Лев Поляков. Сольный концерт. В программе – Вивальди, Паганини, Боккерини, Сен-Санс...» А Гаэтано Пуньяни не было. Видимо, крепко запоминаются ошибки, которые долгими ночными часами исправляются после оваций в пустом гостиничном номере.

И может быть, поэтому – трудно узреть причинную цепь во взаимодействии людей-миров, – но, возможно, поэтому через афишу поперек размазалась разноцветная, как аспид, полоска с черными жирными буквами: «ОТМЕНЯЕТСЯ»... Билеты можно вернуть в кассу, но они остаются действительными, поскольку «о новом сроке концерта будет сообщено дополнительно».

Придется подождать, товарищи зрители. Гении-скрипачи ведь тоже люди – они могут в день концерта заболеть, у них могут возникнуть «семейные обстоятельства». У них могут украсть инструмент...

– Вы кого-нибудь ждете еще?

Лаврова, засунув руки в карманы плаща, сердито смотрела на меня.

– Только вас, Леночка...

– А это что?.. – Она показала на букет.

– Цветы, – сказал я. – Вам.

Она небрежно кивнула головой – спасибо, будто я каждый день подносил ей букеты. Особенно когда мы отправлялись на обыск. Наверное, это было написано на моем лице, потому что она засмеялась:

– Как все злые люди, вы сентиментальны. Вы хотели бы, чтобы я бросилась к вам в объятия?

– А почему вы так уверены, что я злой человек?

– Не знаю. Мне так кажется.

– А может быть, наоборот? Это у меня маска такая, а на самом деле я тонкий и легкоранимый человек? Где-то даже чувствительный и нежный? И воспитываю семь усыновленных сирот?

– Так ведь не воспитываете же! – махнула она рукой.

– Тоже верно, – согласился я. – А что с Обольниковым?

Она взглянула на меня с сожалением – ей, видимо, хотелось продолжить беседу о моих недостатках. Я бы, может, и не возражал, если бы нам не идти на обыск. А я уже и так сильно устал, спать сильно хотелось.

– На билете есть серия и номер, – сказала Лаврова. – В Управлении пассажирского транспорта мне сказали, что это серия Первого троллейбусного парка...

– Это я уже знаю...

– Тогда не перебивайте, – сердито остановила она. – В парке, в отделе движения значится, что серия ЩЭ-42... выдана на двадцатый маршрут. Разряд билетов 423... выдавался в машине номер 14–76. Водители троллейбусов на конечных остановках маршрута записывают в блокнот движения номера билетов в кассах. На билете, найденном нами, номер 4 237 592. Шестнадцатого октября водитель Ксенофонтов записал на станции «Серебряный бор» в 22:48 номер билета – 4 237 528. Через шестьдесят четыре номера оторвал билет его хозяин. По расчетам Ксенофонтова, это могло произойти на перегоне от остановки «Холодильник» до остановки «Бега». А таксомоторный парк, в котором работает Обольников, находится как раз на этом перегоне.

– Это интересно, – сказал я. – Но шестнадцатого октября он уже...

– ...Был в больнице, – закончила Лаврова. – Я помню. Тем не менее пренебрегать этим раскладом мы не можем...

– Не можем. Нам бы для этого кнута еще лошадь подыскать, – сказал я. – Некуда нам этот расклад приложить.

– Так что, обыск не будем делать?

Я подумал минуту, потом сказал:

– Не знаю. Давайте пока просто поговорим с его женой.

– В каком смысле?

– В том, что Обольников сидит себе преспокойно вместе с остальными алкашами в клинике, а обыск мы будем делать у его жены. Ему-то плевать, такие стыда не знают, а ей позор на весь дом – понятых надо звать, соседей. А он и так ее в гроб раньше срока загонит...

Лаврова пожала плечами:

– Вулканический всплеск сентиментальности. Я же говорила...

– Ага, – кивнул я. – Это у меня от злобности. Но тут ничего не поделаешь. Как сказал мне сегодня Иконников, у каждого своя правда.

Мы вошли в подъезд.

– Давайте выкинем цветы, – предложил я.

– Зачем? – Лаврова потянулась на цыпочках и положила букет на какой-то электрический ящик с нарисованным черепом. – Назад пойдем, тогда заберем. А пока их черепушка постережет...

– Вроде и грехов я таких не совершала, чтобы так строго взыскивалось, – устало говорила Евдокия Петровна Обольникова. Руки ее, тяжелые, натруженные, бессильно лежали на столе.

– Евдокия Петровна, мы же вас тоже расспрашиваем не потому, что нам другого занятия не найти, – сказала Лаврова. – Но ваш муж ходил в квартиру к Поляковым...

– Не касаюсь я его, – сказала женщина. – Пропали он пропадом, мерзкий. Все, что мог, отравил, испоганил.

В комнате было удивительно пусто, не обжито. Евдокия Петровна подняла на меня глаза и перехватила, видимо, мой взгляд.

– Смотрите? Сарай наш пустой оглядываете? А что делать? Гена перед самой армией себе куртку кожаную купил, радовался, молодой ведь, – ему, понятное дело, приодеться хочется. Недоглядела я, так этот проклятый унес ее и пропил. Все, что осталось, к дочке перенесла...

– А где же вещи вашего мужа? – спросила Лаврова.

– А какие же вещи у него? – удивилась Обольникова. – Что на нем – вот и все его вещи. Дочка мне в кредит холодильник купила, так я к ней на неделю как уехала – внучок прихворал, – он и холодильник вытащил из дому. Так опился тогда, что чуть не помер. Оно жаль, что чуть не считается... Стыд ведь какой – у человека внуки, а я за получкой его на работу езжу.

– А как вы к нему на работу добираетесь? – спросила Лаврова. – Я имею в виду, транспортом каким?

– Троллейбусом двадцатым, не на такси же. Ох, горе мое горькое. За что мне только причитается такое? И за душегубство каторгу на срок дают. А мне – пожизненно.

Так мы и ушли, не узнав того, что знала и видела эта усталая, замученная женщина, истерзанная страхом и ожиданием позора.

Глава 6

Фаза испепеления

Каноник Пьезелло провел ладонью по шантрели, погладил изогнутым смычком басок, и протяжный, неслышно замирающий звук надолго повис солнечной ниткой в мягком сумраке мастерской.

– Предай Господу путь свой и уповай на Него, и Он совершит... – сказал каноник, и слова Писания неожиданно прозвучали в этой длинной тишине угрозой.

Неловко завозился в углу Антонио. Амати бросил быстрый взгляд на ученика, прошелся по комнате, задумчиво посмотрел в окно, где уже дотлевали огни позднего летнего заката. Негромко щелкали кипарисовые четки в сухих пальцах монаха, его острый профиль со срезанным пятном тонзуры ясно прорисовывался на фоне белой стены. Беззащитная и беспомощная, будто обнаженная, лежала на верстаке скрипка, и когда жесткая рука монаха касалась ее, у Антонио возникало чувство непереносимой боли, словно монах прикоснулся к его возлюбленной. А мастер Николо молчал.

– Ты же сам говоришь, Амати, что скрипка – как живой человек... – говорил тихим добрым голосом каноник. – И если дух твой чист и Господь сам идет перед тобой, то святое омовение в купели только сделает ее голос чище и сильнее, ибо вдохнет в нее промысел Божий. Отчего же ты упорствуешь?

Амати вновь медленно прошелся по мастерской, и Антонио заметил, что его учитель очень стар. Старик тяжело шаркал толстыми, распухшими ногами по полу, он грузно уселся в свое деревянное резное кресло, взял в руки скрипку, прижал ее к щеке, будто слушал долго ее нежное сонное дыхание, провел пальцами по струнам, и скрипка сразу ожила, и плач и смех, веселье и грусть предстоящего расставания рванулись в этом коротком случайном пиццикато, и в верхней комнате еще долго была слышна дрожь ее испуга.

– Я делаю доброе дело, – устало сказал Амати. – И чтобы проверить, угодно ли оно Богу, не надо портить скрипку...

– Я не понял тебя, сын мой, – быстро сказал каноник Пьезелло. – Разве что-либо доброе можно испортить омовением в святой воде?

Амати медвежьими, глубоко спрятанными глазами посмотрел на монаха, и Страдивари показалось, что учитель усмехнулся.

– Она хоть и святая, но все-таки вода, – сказал Амати.

– Что? – беззвучно шевельнул губами Пьезелло.

– Скрипка, говорю, размокнет. Пропадет инструмент...

Монах перегнулся через стол, сжав на груди руки так, что побелели костяшки.

– А может быть, ты совсем другого боишься? Может быть, ты боишься, что святое причастие изгонит голоса бесовские из твоей скрипки? Голос чрева диаволова пропадет? Этого испугался? Вельзевула кары боишься? А суда Господнего не боишься?

Амати положил скрипку на стол, встал, лысина его покрылась плитами тяжелой темной красноты, и Страдивари испугался, что учителя хватит удар. Или что он монаха убьет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.